

A detailed fantasy illustration for a book cover. On the left, a knight with long blonde hair and a beard stands in ornate silver and blue armor, holding a spear with a decorative head. To his right, a woman with dark, wavy hair wears a dark blue corset with a white capelet and a long, flowing skirt. They are positioned in front of a large, full moon and a starry night sky. In the background, a castle with lit towers is visible through the trees. The overall style is highly detailed and atmospheric.

Илья Наумов

Свет и тьма

18+

Илья Наумов

Свет и тьма

<https://litres.ru/74485963>

SelfPub; 2026

Аннотация

Я проиграл бой в Виртуальной вселенной и встретил там падшую, что оставила на мне метку в реальном мире. После этого со мной стали происходить странности. и только об одном она меня просила, что бы я спас её из заточения и подарил свободу, коей её лишили. но для этого надо было попасть на остров, где я должен найти какой-то ключ, что мне поможет в её освобождении, иным исходом будет моя смерть. Ведь ценой заключённой сделки была моя душа.

Содержание

Пролог	4
Глава два. Что это было?	23
Глава третья. Странные дела	32
Глава четвертая. Встреча	40
Глава пятая. Сон	48
Глава шестая. Галлюцинации?	56
Глава седьмая. Здоров	64
Глава восьмая. Сборы	73
Глава девятая. Путь-дорога	81
Глава десятая. Остров	94
Глава одиннадцатая. Выбор	104
Глава двенадцатая. Новое начало	133
Глава тринадцатая. Поруб	143
Глава четырнадцатая. Дом-милый дом	154
Глава пятнадцатая. Жизнь налаживается	170
Глава шестнадцатая. Новый день	181
Глава семнадцатая. Тяжкий труд	192
Конец ознакомительного фрагмента.	205

Илья Наумов

Свет и тьма

Пролог

Лишь непроглядная мгла была её спутником все эти годы. Она была ей другом и соперником, составляла компанию и утешала в тяжёлые моменты. Она уже и забыла сколь долго находилась в заточении, как не помнила и причины, почему она была тут. Ей твердили что она сделала что-то ужасное, вопиющее. Что не укладывалось в рамки норм и моралей общества, в котором она жила, и, которое видимо её и сослало в это тёмное и сырое подземелье, куда не проникал ни луч света, ни какой бы то ни было звук. Только тишина, тьма и сырость.

Но, два раза в день, свет рассеивал мрак лишь на миг, когда в двери её пристанища открывался маленький лючок, и через него ей оставляли поднос со скудной едой. Изюм, день, в день это был кусок хлеба и немного воды. Этого хватало лишь для того, чтобы она не умерла от голода, но было слишком мало, что бы насытить ее голод. Поэтому она всегда ложилась спать голодная, растягивая скудный паек на подоль-

ше, деля его на части, что бы голод не мучал ее так сильно, и она могла спать подольше, не думая о том, как она несчастна и когда все это закончится...

Не единожды она пыталась свести счеты с жизнью, но всегда ее останавливали. После чего были угрозы и избивание, что бы она больше не смела это повторять. Так было всегда, из раза в раз. И каждый раз она впадала в беспамятство и проваливалась в забытие. Когда же приходила в себя, уже никого рядом не было, и только чувство боли напоминало о случившемся. Со временем, от одной лишь мысли о смерти, у нее начиналась истерика и ее била дрожь. Она боялась новых побоев.

В один из дней, когда её принесли очередной ужин, или завтрак, тишину нарушил шорох, за которым последовал мышинный писк. Эта небольшая мышь, влекомая чувством голода, прорыла нору к её жилище. Она тихо пищала и перебирала своими ножками, идя на запах зачерствевшего куска хлеба, что был у узницы в руках. Она не замечала то, что к её трапезе решила присоединиться непрошенная гостья, на чей рот она совершенно не рассчитывала.

Мышь аккуратно поползла по лохмотьям узницы, забираясь на её колени, что не чувствовали столь невесомое существо от недостатка сил и безразличия ума. Лишь пустота была в глазах узницы, в тот момент как глаза-бусинки мыша горели голодом и отчаянием. Оставшаяся корочка мирно лежала в руке, когда гостья подошла слишком близко. Её те-

ло обвинила мертвенно холодная рука, что могла принадлежать лишь мертвецу, потому как это были кости, обтянутые кожей, холодные и безжизненные. Но как бы не старался, мышшь не мог вырваться из этой мертвой хватки оголодавшей хозяйки этой обители, что так давно желала вспомнить вкус плоти и ощутить сладкий вкус чужой крови на своих губах. Желала забрать жизнь в обмен на силу, что в неё была заключена. Хотя это и была жизнь никчёмного и слабого мышья-воришки, что искал пищи, но никак не думала, что сам может стать ужином. Он пищал и извивался, пытался вырваться, но всё было тщетно. Его глазам уже предстали два горящих желанием глаза и рот, полный острых, словно лезвия зубов. Это был его последний миг, что он запомнил ...

В тот момент, когда мышшь уже распрощался с жизнью, а госпожа смерть была готова прибрать его душу, дверь темницы отварилаь...

В двери стоял силуэт.

Его тень, отбрасываемая светом факелов за спиной, оканчивалась у ног узницы. Он казался огромным и устрашающим. Она испугалась. Ведь если дверь была открыта, это означало лишь одно, ей грозили неприятности. Но она не понимала, что сделала, из-за чего к ней пришёл страж.

Она вила себя примерно, тихо и ни разу с последнего раза не думала о суициде. Она осмотрелась вокруг, чтобы понять причину, и только тогда заметила мышья в своих когтистых лапах. Не уж-то это из-за него? Но почему? Почему это про-

изошло тогда, когда она хотела утолить свой голод, толку по вкусу плоти. Чем таким особенным был факт того, что она изловила этого мыша и желала его пожрать. Не уж то этот мышь не так прост? Или тут скрыто что-то ещё...

Все мысли пролетели в её оголодавшем ему за доли секунды. И в тот момент в её глазах отразилось недоумение и желание. Она сжала мыша сильнее отчего то жалобно запишал. Но ничего сделать с ним она не успела, потому как страж схватил ее за тощую шей и посмотрел на руку, в которой была её добыча. Его глаза ничего не выражали, только пустота была в них. Ни сострадания, ни жалости, ничего. Это была его работа. Долг. Он отвечал за этот этаж и тех редких заключённых, что томились тут столько, сколько он себя помнил. И, по рассказам, услышанным им от отца, а тем от его отца, на этом этаже тюрьмы никогда не было новых заключенных. Но и старые никуда не девались. Ему всегда было интересно, сколько же лет, или веков, они тут уже находятся, и, кто они такие, эти создания, что были тут заперты навечно.

Его рука, которая сжимала её шею, ощущала холод, исходящий от неё. В этой камере всегда царила жуткая атмосфера, которую было сложно описать. Но ему всегда говорили, что входя сюда, не испытывай никаких чувств, только передавай еду, или же наказывай. Но сегодня, делая обход, он услышал писк, исходящий из этой темницы. И ему стало интересно, что там происходит, неужто узница опять решила умереть. Как было ранее. Но распахнув дверь темницы ему

предстала иная картина. Она кого-то схватила, и этот кто-то жалобно пищал в её руках, перед разинутой пастью. Её глаза выражали нескончаемый голод и жажду. С виду ничего особенного в этом не было, но что-то его смущало, он не мог понять, что это было. Но когда в ее глазах сверкнула жадность, он понял, что тут было неправильно. Это была мышь. Она была необычной, из нее так и сочились жизнь и силы, и, сейчас узница это тоже понимала и решала поглотить её и ее жизненные силы. Это могло грозить невыразимыми проблемами для всех, как стражи, так и узников, что были в других камерах. Ведь это была не обычная тюрьма. Здесь содержались самые опасные чудовища и прочие угрозы, что когда-то случались с миром. И, раз она была тут, значит она была опасна.

Он в один большой скачок оказался рядом с ней и схватил за шею, приподняв над землёй. Её кожа была холодная как у трупа, а глаза горели ненавистью. Он мог лишить её жизни одним движением, ведь её шея была так хрупка, нужно было лишь немного приложить силы, чтобы прекратить её страдания. И она это видела, она желала этого, и в её глазах ненависть сменилась мольбой о смерти. Их глаза встретились, и некоторое время он не мог отвести взгляда, но и выполнить её желание он не мог. Он отвел взгляд туда, где была мышь. На её руку.

С виду мышь была самой обычной. Но та энергия что от неё исходила, была слишком необычна, для столь маленько-

го создания, как он. Страж не понимал, откуда тут этамышь. Он стал осматривать темницу, искать глазами необычное, то, что не вписывалось в общую картину убранства комнаты. А из обстановки были лишь голые стены и цепь, которой была прикована узница. После недолгих поисков он увидел небольшое отверстие в углу, видимо оттуда и пришел этотмышонок. Так вот как он сюда попал...

Тем временем узница всё так же трепыхалась и пробовала вырваться из железной хватки стража, но ничего не выходило, что нельзя сказать омышонке. Когда узница отвлеклась, он прокусил до крови её руку, отчего она разжала хватку, и он кулем упал на пол, где, не теряя времени шмыгнул обратно туда, откуда и пришел. Это не осталось без внимания стража, что заставило проявиться на его лице ухмылку, которую не могла видеть узница, из-за того, что его лицо было скрыто надетым шлемом.

Она была в ярости. Столь долгожданная пища, свежайшая плоть, сбежала. И всё из-за этого никчёмного стража, что помешал ей. Не дал насладиться вкусом мяса, почувствовать вновь это пьянящее чувство власти над чужой жизнью и смертью. Вновь ощутить власть в своих руках.

В глазах узницы сверкнула ярость, и они вспыхнули леденящим, белым светом. Страж сильнее сдавил её шею, но уже было поздно, он не чувствовал руку, только смертельный холод, что тек по его жилам и расстилался по темнице незримым туманом. Его сердце сковал страх и ужас, он хотел уйти,

сбежать как можно дальше, но не мог. Не мог выпустить это существо, что смотрела в его глаза, не мог оторвать взгляда от нее, от этих огней в её глазах.

Узница не трепыхалась больше, она висела безвольной куклой на руке стража и смотрела в его глаза, в его душу, наполняя её ужасом и страхом. Это было давно забытое чувство контроля над другими людьми, частица её былой силы, что проснулась из-за потери мыша, и, на что тратилась её остатки жизни. Она шла ва-банк, всё или ничего, так она решила. И сейчас, когда жизнь стража медленно утекала из него, и наполняла каждую её клетку силой и энергией, она не могла остановиться и ей надо было больше, много больше, чем один никчёмный страж, что пал от рук собственной самоуверенности, но она была и на том благодарна ему. Теперь она могла обрести свободу, ту, что потеряла века назад, когда её пленили и закончили её правление. Теперь она сможет отомстить всем, кто нанес ей раны, кто заточил её сюда, всем кто повинен в её злоключениях. И начнет она со стражей её узилища. Её глаза сверкнули в предвкушении пира и из глотки вырвался ужасный, словно скрежет колес, смех, что с каждым мигом становился все громче и громче, разносясь эхом по тоннелям и коридорам, вселяя ужас в обитателей этого места...

Глава первая

Узилище

Вереница узких тоннелей, просторных коридоров, малых и больших камер, просторных залов и сырых ям. Всё это была самая охраняемая и страшная тюрьма. Сюда попадали самые опасные существа и создания, что несли угрозу миру.

Она располагалась в сердце горы на безлюдном острове по среди бушующего моря, окружённого рифами, что были скрыты под волнами.

По собственной воли в это место попадали лишь стражи, простому же люду дорога была сюда заказана, узникам же всегда были рады, хоть это и случалось довольно редко.

В сторону острова, мерно качаясь на волнах, шло небольшое парусное судно. Ветер дул в нужную им сторону и в гребле не было нужды, поэтому большинство экипажа было занято личными делами. Кто-то штопал форму, потертую от времени, кто-то перекусывал не хитрой пищей, состоящей из ломтя хлеба, куска вяленого мяса и кружки с пивом либо ягодным напитком, тут все зависело от вкусов каждого и гастрономических предпочтений. Но были и такие что занимались делом, потому как работу никто не отменял, ведь когда ты в плавании, ты должен трудиться на равне со всеми, иначе все могут погибнуть, тем более там, где они сейчас находились. Все знали куда они идут, как знали о то, насколько опасен данным маршрут от материка до Узилища. Но в этом была их работа, ходить по данному маршруту и снабжать остров провизией, новобранцами и, иногда, узниками.

На этот раз они везли провизию, в виде нескольких бочек пива и вина, тюков с вяленным мясом, мешков с мукой и прочими необходимыми продуктами. Это была их ежемесячная поставка, что всегда совершалась строго по расписанию и по заранее согласованному перечню необходимого провианта. Но в этот раз к ним в компанию набились молодые стражи, что только пару месяцев как закончили курсы и инструктажи, получили форму и необходимое снаряжение. И сейчас они стояли на палубе и смотрели туда, где виднелась макушка острова - сигнальная башня, что располагалась на вершине узилища и на которой всегда должны были гореть огни, чтобы суда не заплутали и не ушли с нужного им фарватера, напорвшись на рифы, что были тут кругом и которые скрывала непроглядная гладь воды. Сигнальный огонь мерцал с равными промежутками, предупреждая путников о том, что на суше не всё ладно...

Несмотря на предостережения с башни и предостережения стражей, что пытались убедить капитана судна развернуть судно и двигаться на материк за помощью, он не сделал этого, ведь наступала ночь и она несла с собой бурю, а из-за того, что скоро стемнеет, судно не могло безопасно пройти недавно пройденные рифы и у них всех, всех кто был на борту, был только один выход – идти к суше, не этот остров, там, где видимо сейчас, как впрочем и всегда было не особо безопасно, но альтернативой этому была неминуемая гибель в морской пучине. Капитан отдал приказ сесть экипажу за

весла, лишь опередить непогоду. Стражи же, поняв, что их увещевания бесполезны и они не сменят курс, решили надеть снаряжение и готовить к сходу на сушу.

Спустя пару часов, когда уже солнце скрылось за горизонтом, а звезды ещё не появились на небосводе, судно пристало к пирсу. Лишь тусклый свет от факелов освещал их путь. Остров погрузился во мрак ночи, молчаливый и пугающий. И только свет на башне так и продолжал мерцать.

- Почему нас никто не встретил? – прозвучал вопрос от одного из членов команды.

- Ты думаешь тебе это одну интересно? – ответил капитан судна. – и, раз у тебя есть время думать, то может лучше пойдешь разгружать груз? «Как это делают все...» — сказал капитан и посмотрел на своего подчинённого, от чего тот развернулся и ушел за грузом, пока не наварлся на неприятности.

Капитану не нравилась эта тишина, не нравилось, что их не встретили. Их всегда встречал адъютант этого мрачного места, что было тюрьмой многим тварям, что были врагами этому миру. Поговаривали что где-то в глубине есть настоящий дракон, вокруг которого и построили это узилище.

Стражи же, не обратили никакого внимания на капитана, и двинулись вперед, по тропе, что вила к воротам небольшого прибрежного поселения, в котором и проживали все жители этого острова, как стражи, что были на отдыхе, так и те, кому не нашлось места на материке и кто пожелал жить

здесь, в этом страшном месте.

Воздух был тяжел и неподвижен, в нем явно чувствовался привкус моря и чего-то еще, чего-то опасного. От чего по коже бежали мурашки и в голове возникала лишь одна мысль – бежать.

Ворота были прикрыты, когда пятёрка стражей подошла к ним и остановилась. Они прислушивались. Не было ни звука, что по обыкновению присутствовали в поселениях. Ни разговоров, ни лая собак, ни бытового шума... была полнейшая тишина. Это не могла не насторожить их.

- Потушить огонь. – кинул старший в их отряде, и сам сунул факел в песок, что был под ногами. – мы не знаем, что тут произошло и почему такая тишина вокруг, так что будьте начеку.

Все сделали как он и сказал и достали оружие на изготовку. У старшего был большой щит и массивная булава, у двух других по паре легких щитов и мечей, и у последних были небольшие арбалеты. Они построились клином и понемногу двинулись вперед, открывая ворота.

Окружающую тишину разорвал стон одной створок ворот что она издала при открытии, видимо их давно никто не смазывал. Стражи остановились и стали вслушиваться, не привлёк ли кого этот звук, но вокруг была все та же тишина. Ни души. Они медленно втекли за ворота и стали осматривать всё кругом.

Их глазам предстал пустой поселок, в котором ничего не

говорило о том, что его кто-то населял. Всё было заброшено и пустынно, казалось, даже что его покидали в спешке. Но, если его покинули, то когда? И главное почему? Ведь как им было известно, этому поселению столько же лет, столько было и Узилищу, и тут всегда царила жизнь. Сейчас же тут было столь же пустынно и холодно, как на кладбище...

Они двинулись вперед, не нарушая строй, в сторону ближайшего здания, чей силуэт чернел на фоне прочего окружения. Они шли неспеша, стараясь не издавать ни звука, но тем не менее кожаная подкладка доспеха все одно скрипела, нарушая тишину. Когда они уже подошли к зданию, чья-то тень стремительно вырвалась из черноты сооружения и кинулась прочь от них. Они не могла увидеть, что это было, но их поразило то, что это нечто не издало ни звука. Ни звука шагов, ни шелеста ткани от одежды, ни дыхания. Ничего. Будто это был дух. Но, духов нельзя увидеть, они бестелесны...

Не было видно ничего. Только тьма. И, хоть их глаза и привыкли, это никак не облегчало ситуацию. Как не было среди них и охотников, что могли видеть в ночи ни хуже, чем днем.

- Всем внимание, я зажгу огонь, будьте готовы. – сказал как можно тише старший, снимая с пояса факел и поджигая его.

Они встали в круг, спина к спине, чтобы контролировать округу и не пропустить возможную опасность. Пук иск, вы-

битый из кресала, упал на пропитанную маслом ткань факела, пламя которого быстро занялось и осветило округу из поднятой вверх руки старшего Стража.

В свете факела было видно лишь пустынную округу, обветшалые дома, и сооружения. Они стояли неподвижно, но ничего не происходило вокруг. Только их тени, отбрасываемые светом факела, плясали вокруг них.

Старший страж неспеша двинулся в дом, подав знак остальным следовать за ним. Ему не нравилось происходящее вокруг. Где все? Что тут произошло? Вопросы возникали в его голове и ему не нравился возможный ответ на них.

Подойдя туда, где должна была быть дверь, и, не обнаружив таковую на своём месте, он шагнул во мрак комнаты, освещая его светом факела. Дверь покоилась у противоположной стены, сорванная с петель и переломанная пополам. Он осмотрел комнату, ему на глаза попала куски бруса, что видимо запирали дверь изнутри. Какой же силы был удар, что сотворил такое?

Помимо обломков двери в комнате был лишь перевернутый стол и пара стульев, раскиданных по углам. Их небольшая группа вошла в дом и заняла позиции по углам, Старший же направился в небольшой дверце, что была приоткрыта. Он подошел к ней и оттолкнул ногой. Дверь скрипнула и пламя осветило небольшую комнатку, видимо чулан, на полу которого помимо раскиданных метелок и чашек, были три тела, что сидели прижавшись друг к другу. Их кожа была

бледная с оттенком синевы, рту были открыта в беззвучном крике, а в остекленевших глазах отражался ужас. Они нашли жителей этого поселения...

На улице раздался противный, клопочущий визг, переходящий в свист. От чего у всех пробежал холодок по спине и встали волосы дыбом. Этот крик был наполнен злобой и предвкушением добычи, он вселял ужас в сердце живых и обращал их в бегство.

Из окон и дверей, на площадку перед домом, туда, где не было видно ни зги, туда, где был предполагаемый противник полетели несколько факелов, что зажгли все живые, что там были. Они хотели увидеть то, что ожидало их. Они были готовы к чему угодно. Их щиты и мечи были в готовности, а на тетивах уже покоились стрелы, ожидая своей цели. В дверях же встал старший страж, перекрыв её своим тяжелым щитом, не желая пропустить чужаков внутрь, кем бы, или чем, те не оказались.

Факелы упали на песчаный грунт, рассыпав снопы искр и осветив площадь вокруг. Свет был тусклый, но его хватило, чтобы различить силуэт девушки, окружённый тенями, что были будто живыми и плясали вокруг нее. Она была молода, не старше двадцати лет, с длинными, тёмными волосами и глазами, похожими на две бездны, все что успел выхватить пролетевший мимо неё факел, свет которого затем пропал в тенях, что клубились вокруг.

Она шла медленно, направляясь к дому, её руки были пу-

сты и повернуты ладонями в их сторону. Её образ был обманчив и притягателен. Стражи начали опускать оружие, теряя бдительность и не замечая того, что факелы гаснут один за другим, и только окрик старшего их вернул в себя и напомнил о том, что перед ними враг.

Низкий визг, разбивший остатки окон, был ему ответом. Ей не понравилось, что он не поддавался на её давление и вывел остальных из забытия. Ещё совсем недавно, когда тут царила жизнь, она пришла сюда и никто не смог противостоять её чарам, все пали и стали её слугами, тенями что кружили за её спиной, ни простолюдины ни хваленые стражи, что потеряли бдительность за века спокойной, мирной жизни на этом богами забытом острове, что был ей тюрьмой и домом. И сейчас, какой-то мелкий страж противостоит её, повелительнице усопших, чью силу она поглощала и использовала по своему желанию. Он был не достоин жизни и её внимания. Она вскрикнула и подняла свою руку, указав на это жилище, где были стражи, приказывая уничтожить всё живое, что там могло быть.

Тени поглотили последний источник света, что был на площади и направились к факелу, находящемуся в руке старшего стража, словно он являлся маяком для них в бушующем море. На встречу им из тёмных проёмов окон полетели стрелы, что выпустили стражи, и, что оказалось безрезультатным. Они пронзили теней насквозь, не нанеся урона, будто не было ничего на их пути. Тени двигались бесшумно, и

только свист стрел и удары тетивы нарушали окружающую тишину. Эта девушка, что была ею лишь снаружи и старший страж стояли недвижимо и безмолвно, не спуская друг с друга взгляда, будто нет этого локального боя вокруг них, а лишь они двое есть на этой площади. Оба ждали, когда одна из сторон пересечёт эту незримую черту, что их разделяет. И, когда тени преодолели расстояние, что разделяло их и этот дом, откуда так и летели безвредные стрелы, и ступили на ступени что вели к входной двери в которой был старший страж, он поднял свой щит и с силой опустил его на дощатый пол, произнеся молитву Единому, отчего тот жалобно закрипел но не проломился. Свет, исходящий от его щита, озарил все вокруг и наполнил его носителя благословением истреблять зло и восстанавливать справедливость.

Она стояла и смотрела, как её подчинённые гасили факелы, как они медленно, но верно приближались к дому, из которого так и пускали стрелы, что никак не могли причинить вреда ни им, ни их госпоже. И каково же было её удивление, когда вместо того, чтобы погасить последний факел и покончить с признаками жизни в этом доме, её слуги отпрянули, а из дверей начал струиться обжигающий свет, что так жег её кожу.

Свет лился из щита стража ровным потоком, озаряя все кругом, вдохновляя живых и ужасая мертвых. Тени, стоило начать свету литься из щита, отпрянули туда, где он не мог их настигнуть, оставив свою госпожу в одиночку противосто-

ять пятерке настырных живых. Пятерке стражей. Чьи стрелы, озаряемые светом, стали их настигать и приносить урон. Но их госпожа стояла, лишь немного прикрыв свои глаза от яркого света, от которого она успела отвыкнуть в сырых и темных казематах темницы, где она провела все последнее время, и, откуда смогла вырваться благодаря нелепой случайности в виде небольшой мышки и любопытного стражника, что дежурил рядом с её узилищем в ту ночь. Она убила всех, до кого смогла добраться, всех, кто держал её в заточении, и кто причинял ей вред и боль. Она обратила их в тени, безвольных и послушных, но слишком слабых, чтобы быть способными противостоять этому свету. Этой светлой магии.

Она жгла её кожу и заставляли прикрывать глаза, ей было неприятно от этой боли, но больше было обидно что она так ослабла за эти века, и сейчас ей причиняет вред этот слабый свет, хотя в прошлом она бы его и за угрозу не посчитала. Но деваться ей было некуда и придется сразиться с этими живыми, что пришли на её остров и что помешали ей накапливать силы.

Старший страж, стоило его щиту осветить округу, успокоился и взял себя в руки. Тени, что так мчались к ним и почти их достали, отступили, и теперь перед ним и его отрядом была лишь это девушка, что прикрывала глаза руками. Он отдал команду и стрелы перестали лететь из окон, он потихоньку начал продвигаться вперед, выходя из двери по

направлению к своей цели. Следом за ним, обходя с боков и выстраиваясь полукругом, двинулись и его подчиненные. Никто не спускал глаз с этой девушки, а свет освещал округу, выхватывая передвижения в тенях. Нужно держаться света.

Живые, стражи, вышли из дома и начали ее окружать. Ей было не обязательно видеть их что бы это понимать. Она слышала их и чувствовала, как свет усиливается, приближается. А её тени прячутся и ждут удобного момента, чтобы утянуть во мрак живых, но те держатся света и не думают ступить во мрак. Но и она не так проста и может им в этом помочь, сгустить тьму...

Оставалось около 10 метров, когда она опустила руки и взглянула на стражей. На ее лице была легкая улыбка и во взгляде был лишь мрак и холод. И стоило им остановиться на один миг, засомневаться в своих силах, как она взмахнула рукой, и из неё вырвался поток мглы, темное облако, что не мог пронзить свет. Оно двинулось в их сторону, отсекая одного из стрелков от группы и, от спасительного света. Крик ужаса огласил окрестности и, когда облако рассеялось, на земле было бездыханное тело, на лице которого застыла гримаса ужаса. Их осталось четверо. Все произошло мгновенно, никто ничего не успел сделать. И сейчас они смотрели на своего товарища, в тот момент как госпожа теней не дремала и выпустила новое облако мрака. Но и старший страж был не так прост и шагнув в бок, поставил щит на пути тьмы.

Сошлись две стихии. Во все стороны от щита лился свет

и сгустки мрака. Никто не хотел уступать. Она держала контроль и подпитывала своё облако жизнями тех, кого убила ранее, он держался и верил, он был последней стеной между жизнью его команды и их смертью. Свет вырывал куски облака, уничтожая его, тьма же бросала тень на окружающий мир, чем и воспользовались тени, что срывались во мраке. Им хватило мгновения и живых становилось все меньше. Спустя долгую минуту, что старший страж держал щит и боролся с облаком мрака, оно истончилось и исчезло, как и жизни его соратников, что теперь бездыханными телами окружали его. Свет начал тускнеть, как и вера в то, что он сможет выжить в этом царстве мертвых. А эта девушка стояла и смотрела на него, её взгляд был все так же холоден и решителен. Он закрыл глаза, свет его щита потух, и он упал на колени, на него в одночасье навалилась усталость и ему захотелось спать, даже если он уснет мертвым сном и больше никогда не проснется...

Глава два. Что это было?

Время шло, текла минута за минутой, но он так и не ощущал блаженного умиротворения что желал обрести в смерти. Он всё так же стоял на коленях, на него всё так же давила тяжесть доспеха, он ощущал щит в своей руке и была дикая усталость от применения магии и горечь от потери своего отряда. Но смерть так и не спешила за ним... Почему противник медлит? Почему не убьёт его? Такие мысли были в его голове. Страж разжал руку и отбросил в сторону свой щит, отпустил клинок, и тот бесшумно упал на песок, размял руки и стянул с головы свой шлем, освобождая свои русые волосы. Так стало полегче, и он, подняв голову, выпрямив спину, попытался подняться на ноги, но на этом его силы и закончились, и он остался сидеть на песке. Тогда он открыл глаза, чтобы осмотреться и увидеть своего противника и, возможно свой последний миг жизни, он остался последним выжившим из своего отряда, и он хотел присоединиться к ним...Его веки медленно разомкнулись и перед глазами предстала картина места скоротечной схватки. Тела его боевых товарищей лежали бездыханными кулями, а над ними нависали Тени, всё такие же голодные и смертоносные. В центре же площадки, всего в паре шагов от него стояла Она. Та, кто была повинна в смерти его друзей, та, кто видимо и сбежав из темницы и, видимо, погубила не одну сотню Стра-

жей и жителей этого «приветливого» куска камня, окружённого бушующем морем. Она была словно зимняя ночь, также темна и холодна. От неё веяло холодом и злобой, а в глазах плескался голод и ...надежда?

Но при всем при этом, она выглядела молодо. её черные как смоль волосы спадали на плечи, а на вид ей нельзя было дать и двадцать лет. На ней было темной школе в пол, что влачилось по земле, и, из под которого выглядывали босые ступни, без единой ссадины или пореза, что было странно, потому как кроме этого и еще пары других мест, весь остров был сплошь покрыт острыми как бритва камнями. Кто же она? И что теперь будет с ним? Что же делать...

-Ты хорошо показал себя Воин, и мне жаль во пришлось убить твоих соратников, так, скоро. Я думала вы будете развлекать меня дольше, а то скучно стало последнее время тут. Совсем Живые перевелись. Слабые стали они какие-то, умирают слишком быстро.... - её голос был низкий, томный и проникал в самое нутро, словно брал за душу, проникал в неё.

От её слов по телу стража пробежали мурашки, но из-за них внутри него разгорелась злость и досада за то, что не мог уберечь своих лещей, свой отряд. Тех людей, с которыми он провёл время в путешествии до этого мрачного места и которых ему доверили как командиру отряда.

-Заканчивай уже тварь, убей меня и покончим с этим! - сказал он надломившемся голосом и сплюнул в сторону сгу-

сток крови.

- Не торопись, Страж, умереть ты всегда успеешь, да и мне есть что тебе предложить, и, если ты сослужишь мне хорошую службу, то глядишь и в живых ходить останешься. - Сказала она медленно начиная кружить вокруг него, осматривая и оценивая. - Ты довольно крепкий и сильный, в отличие от местных доходяг, которые меня сторожили.

- Службу служить? Тебе? Ты, исчадие, что было заточено в своей темнице сколько? 100 лет? 200? Единственную службу что я могу сослужить тебе, это прикопать в сырой земле, а лучше сжечь и развеять твой жирный прах по ветру над морем с нас окружает! - скрывался страж и потянулся к рукояти меча.

- Не торопись милоч, ты видимо не знаешь кто я, не знаешь на что была способна, ну так мы это исправим. - тихим вкрадчивым голосом проговорила она, появившись у его головы и перехватила его меч, провела вдоль дола языком. - Имя мне

Морена, богиня смерти, что повелевала душами умерших и зимой. Меня пленили в этом месте обманом около пятисот лет назад, и потом уже возникло это место. Эта темница изначально создавалась только с одной целью, держать меня тут, уже потом, когда Живые начали забывать о том, кто я и что там делаю, начали привозить других сюда на заточение. - сказала она и отшвырнула мечт в сторону, от чего тот пронзил стену близлежащего дома и застрял

нам по самую рукоять.

-Так вот оно что, падшая богиня выбралась на свет божий и решила мстить обидчикам. Решила выкосить половину человечества в отместку? - сказал он, повернувшись к ней и упреков взгляд в её бездонные глаза.

- Честно? Первые пару сотен лет желала только мести, а сейчас просто хочу выбраться, а там посмотрим... - продолжила она говорить и взгляд её изменился на томный, пальцы её коснулись его израненного, покрытого щетиной лица. Они были холодны как лёд, но в тоже время нежны. Она рассмеялась и крутнувшись вокруг него растворилась в дымке, а вместе с ней и её слуги. - думай Воин, хорошо думай. Я могу дать тебе силу,

которой обладали твои предки, долголетие, власть, всё чего ты пожелаешь... Только служи мне, помоги мне выбраться с этого остова, из этого проклятого места, из моей тюрьмы. Помоги мне Димитрий, верни меня в свой мир, верни меня к жизни!

- Что?- страж впал в ступор от осознания того, что эта благая богиня только что назначала его имя, и не то, которым его называли всегда, а то, что было даровано ему при рождении его родителями в том мире, откуда он был. - Откуда ты знаешь как меня зовут? Откуда ты знаешь моё имя?

- Имя? Димитрий за кого ты меня держишь? - она отошла на шаг и стала рассматривать ногти на своих руках - Ты меня оскорбляешь, я же вроде ясно дала понять то, что я богиня,

хоть и падшая, а не этот ваш программный код.

- То есть как? - он начал приходить в себя, а мысли в его голове неслись одна за другой. Он не понимал происходящего с ним и не знал как поступить, он только хотел вернуться к себе реальному. - Программный код?

- Ну та штука, благодаря которой и создано это место. Место в котором вы, людишки, проводите теперь больше всего времени, куда вы убегаете от своих проблем и своего мира. - Она смотрела а него как на ребенка, которому приходилось объяснять элементарные истины, - Это место мне больше было по душе, вот я и проникла в него и ждала кого-то, кто не погибнет от одного чиха. Все что приходили до этого, до врат деревни то не

доходили, убегали в ужасе или умирали от пронизывающего холода, а некоторые и до острова не доплывали, разбивались о рифы, которые в так аккуратно прошли.

- То есть ты хочешь сказать то, что ты реальна и то, что проникла в этот мир с целью поиска человека, что сможет тебя освободить? - Димитрий начал приходить в себя и медленно поднялся на ноги. - Мне кажется это всё бредом и видимо я сплю, а всё мне это снится. Видимо правильно мне говорили не засиживаться в этой капсуле.

- Увы, но ты не спишь, и да, я реальна и мне нужна твоя помощь. Устала я ждать эти века в заточении, на свободу охота, мир посмотреть, воздухом подышать, посетить памятные места - Марена подплыла к нему, обошла его и нежно

положила свои ладные руки на его мускулистые плечи, которые скрывал доспех. - ну так что, Страж, поможешь мне? Я в долгу не останусь, обещаю...

Пока она говорила, Димитрий попробовал выйти из этого мира, выйти из капсулы, но все старания его были тщетны, и чем больше он пробовал, тем страшнее ему становилось от этого. Ведь производитель заверял в безотказности механизма и в том, что любой ментальный сигнал сразу откликался и осуществлял выход из мира, в котором находился пользователь, но ничего не происходило, ничего, все его попытки были тщетны.

-Фи, как некультурно, пытаешься покинуть этот мир, пока мы с тобой говорим. - она отпрянула от него и появилась перед подбоченив голову рукой - а ведь у тебя ничего не выйдет, ты не покинешь этот мир, покуда мы с тобой не договоримся, ну, или пока ты не погибнешь в бессмысленном сопротивлении, но знай, погибну тут, ты погибнешь и там, в своём мире, я не могу рисковать раскрытием того, что я пытаюсь выбраться на свободу.

-Умру? Стой, а мои друзья что были со мной, они получаются уже мертвы? - его охватила паника, он не знал что делать

-Ты беспокоишься о них, как мило, и нет, они живы в своём мире, ведь они видели меня только как местного босса, не более того.

-Получается у меня нет выбора, - его немного отпустило

от осознания того, что его друзья живы, но легче не стало, ведь а кону теперь была его жизнь. - Если сражаться с тобой, то это смерть безоговорочная, что мне не улыбается, я может только жить начинаю.

Получается что единственно верное, и главное безопасное, решение будет согласиться помочь тебе с твоей проблемой. Но что будет мне от этого вынужденного союза? Что я получу? - он решил подыграть ей, лишь бы выбраться, а там он уж оторвется на службе поддержки, и выясняет что это был за сбой, а там глядишь и компенсацию сможет выбить.

-Что ты получишь? Живые, вы всегда такие корыстные, вас всегда можно было купить парой шкур и золотой монетой. А чего ты желаешь? Власть? Деньги? Силу? - в её глазах сверкнул огонёк удовлетворения.

- Сила и деньги и так дадут власть, но мне это не нужно. Ты говорила о могуществе предков, что ты имела ввиду под этим?

- Во времена до единого бога, когда боги были в силе, живые могли использовать часть наших сил. Кто-то для лечения, кто- то для войны, от каждого бога они получали то, что тот мог им дать. Я же, как богиня мёртвых и зимы, могла даровать управление стужей или силой мертвых, вы её называете некромантией, но не этой извращенной формой, а простым управлением мертвыми душами, малыми духами или поднять свежее умершего, чтобы тот мог указать на убийцу или отомстить обидчику.

- Хм, звучит интересно, а знаешь что, я согласен, где подписать? - ему не терпелось сбежать, но он старался не подавать виду.

- Подписать? Я оставлю на тебе метку свою, она и будет означать что контракт заключен и исчезнет когда ты выполнишь свою часть сделки.

- Так просто?

-Да, а теперь приступим.

Она подплыла к нему и схватила за запятые, и тут его пронзила боль, а руку будто обдало холодом.

-Вот и всё, а теперь тебе пора умереть, так быстрее всего. - её улыбка была холодной и зловещей, а затем последовал удар и мрак, через который до него доносился её голос.

-В своём мире ищи меня на севере краю, на острове малом, похожем на этот, ты поймешь когда туда прибудешь, окропи кровью камня и назови имя моё, и прибуду я к тебе. Не забывай, я не дам покоя тебе и буду являться к тебе покуда ты мне не поможешь,

Такова цена твоей жизни...

Голова шла кругом, перед глазами было темно, он чувствовал как его тело упало на хладный камень, как сознание начало его покидать, а в голове только был один вопрос. Он сошёл с ума или только что заключил договор с ботом?

Тело пронзила боль, перед глазами всё потемнело и он умер. А перед глазами высветилась надпись «Вы проиграли! Желаете начать заново?»

Димитрий Ветров лежал в капсуле виртуальной реальности, а в его голове проносились события последнего дня. Как они с друзьями взяли это задание и отправились в путь, как прибыли на место и как сражались с этими «мобами», как его друзья стали погибать один за другим и как он сам чуть не погиб. Как этот местный босс решил заговорить с ним и заключить сделку, ценою его жизни и её спасения, вызволения из затвора. Он протянул руку и оттолкнул дверцу капсулы, та с тихим шелестом отъехала и его глаза ослепил свет солнца, что бил из окна. Он посмотрел на то место, что схватила Марена в том мире, и на нём был небольшой крест...

Глава третья. Странные дела

Я лежал в капсуле и смотрел на своё запястье, туда, где проступил этот светло-серый, едва различимый крест размером с монету. Его лучи были равных длине и каждый из них венчал меньший крест, и я до конца не верил в происходящее, видимо это была чья-то шутка.

Свет заходящего солнца освещал эту пустую комнату с капсулой виртуального погружения, что разработала и создала одна из медиа-корпораций Федерации. Для многих она была отдушиной и спасением от реальности и серости жизни. Она была слишком тяжела для многих и однообразна, дом-работа-дом, бесконечные платежи и дефицит. Люди сводили концы с концами и эти капсулы были для многих спасением, хоть и кратковременным. Хотя говорят раньше люди жили счастливее и свободнее, больше проводили времени вместе, общались, выбирались на отдых на природу и в другие страны. Увы, но я этого не застал. Я родился, когда уже всё стабилизировалось и мир был разделён на до, и после Войны, что закончилась пятьдесят лет назад. Война что переписала правила и стерла часть стран с карты нашей некогда прекрасной планеты. По официальной статистике в боях на всех открытых фронтах пало около трёхсот миллионов человек, и это только тех, что удалось найти по жетонам или личным вещам, сколько же на самом деле тогда пало не зна-

ет никто, но говорят, что это число близко к полу миллиарду. И это только фронт. Всё закончилось превентивным ударом двух стран-гегемонов, что стёр почти десяток городов и чуть не устроил Вечную зиму. После этого, часть выживших глав государств, что и до войны испытывали давление со стороны их будущего противника, объединились в Федерацию, что впоследствии привлекла в свои ряды соседей и старых друзей, вследствие чего под их властью оказалось две пятых суши, остальное же занимали другие государства и пустошь, что осталась после применения Ядерного оружия в соотношении один к трём.

Федерация за примерно десять лет встала на ноги и стала господствующей силой на планете и первое что она сделала, это уничтожила оружие, из-за которого пострадало столько людей. И не только у себя, но и в других странах, по всему миру, пройдя его частым гребнем. И запретила разработку данного вида оружия, а сам Атом направила только на мирные проекты. Медицину, транспорт, энергетику. Вследствие чего и было разработано много новых технологий, в том числе и камера виртуального погружения, что выгружала сознание человека в виртуальный мир, где он мог чувствовать запахи и вкусы, боль и радость. Единственным отличием от реального мира было то, что там невозможно было умереть по-настоящему, после смерти в игре ты возрадовался у контрольной точки, и мог попробовать заново, учитывая свои ошибки без потери опыта и вещей. Но были и такие миры,

в которых после смерти ты должен был начать всё с нуля, с чистого листа, но все одно ты не умирал конечной смертью, не так как в реальность, в которой я живу.

Политики и учёные говорят, что надо будет ещё лет двадцать, чтобы экономика и благосостояние вернулось на довоенный уровень. А пока почти всем приходится терпеть и мыть в грани бедности. Еда по талонам, обязательные работы по благоустройству территорий или строительству предприятий, однообразная одежда и общественный транспорт, из развлечений капсулы или книги.

Жилищные условия у всех были скромными. Однотипный дома из серого бетона, что были возведены целыми районами ещё сорок пять-пятьдесят лет назад для беженцев и выживших, и так и стоящих и поныне и пользующимися спросом из-за отсутствия выбора. На человека выделялось девять квадратных метров жилой площади, плюс санузел и маленький чулан, в общем получалось около тринадцать метров на душу. Там в основном мы только ночевали и иногда принимали скромную трапезу, если не успевали до работы или после неё зайти в общую столовую при заводах, благо она была бесплатна.

Я работал на одном из таких заводов, что и занимался выпуском и разработкой капсул погружение в виртуальную реальность, и моя работа была лучшей на мой взгляд и заключалась она в том, что я должен был производить тестирование этих самых капсул и сообщать о том, если существу-

ют какие-то неполадки и прочие неисправности. Тут работал я уже около пяти лет, с того момента как закончил школу. Днём работал на заводе с восьми до четырёх, потом шёл на вечерние занятия в местный техникум, который кстати оплачивал мне завод, от меня требовалось только прилежно учиться и работать.

Тестировщиками работали исключительно молодые люди, не достигшие тридцать лет, с острым умом и выносливостью, причем последнее было трудностью с учётом жизни в данных условиях, но меня бог не обделил и когда в старших классах проводили оценку пригодности к труду, мне повезло и меня выбрали. И за всё время моей работы, это был, наверное, единственный непонятный случай, что ставил меня в тупик. Обычно все проблемы заключались в нестабильном подключении к Интернету или в подключении к сети питания, вследствие чего происходили отключения и выход из Миров. Но такое впервые.

Никогда прежде виртуальный мир не мог повлиять на мир материальный. Это было невозможно! И вот сейчас, я сидел и смотрел на собственное запястье на котором был крест, а в голове были её слова о том, что я должен помочь ей выбраться. Но откуда? И насколько это всё было реально? И откуда взялся этот чёртов крест!

Я вылез из капсулы и направился к душевой кабине, что была в углу комнаты. Тугие струи воды ударили по моему телу, покрытому нейрогелем вперемешку с потом, смывая их

без остатка и давая телу свободно вздохнуть. Рядом с душевой, на тумбе был стандартный комплект одежды серого цвета с бордовыми полосами на рукавах, воротнике и по бокам штанин, означавшие мою принадлежность к данному предприятию. Приведя себя в порядок, я направился к консоли, что была возле капсулы, чтобы посмотреть свою последнюю сессию и проверить, насколько это было реальным, а заодно посмотреть запись с капсулы, чтобы понять откуда взялась метка на моём запястье.

Экран консоли мигнул в знак приветствия гербом Федерации, после чего открылось окно с записями как из виртуальных миров, так и из самой капсулы. Среди них я нашёл последнюю запись и открыл для просмотра. Запись занимала около пяти часов, но мне не нужна была она, а только один эпизод. Момент встречи с Боссом или как она себя назвала - Мареной. Это был самый конец, примерно последние полчаса записи, я переместил курсор на интересующий момент и замер в ожидании.

На экране консоли появилось изображение нашего с ней боя, того как погибли мои товарищи и того, как пал я сам. И всё. Никакого разговора, никакого продолжения. Всё укладывалось в десять минут скоротечной битвы, где с нами расправились особо жестоким образом. Но была одна деталь, в самом конце, перед самой моей смертью, за которую мой глаз зацепился, но не придавал ей должного значения. Марена за одну долю секунды переместилась мне за спину, хотя

сама до того стояла в примерно пяти метрах от меня. Да и то, что было изображено до перемещения и после, не было похоже само на себя. Ведь до этого на кадре был изображён бесформенный, человекоподобный балахон без лица, резко изменившийся на эту Мрачную Госпожу в следующий миг. Я начал изучать этот момент с большим усердием и от этого по моему телу пробежали мурашки.

От момента пока оно стояло предо мной и до того, пока не оказалось за моей спиной, согласно записи, прошло около получаса. Того самого времени что занял наш с ней разговор, и того самого времени, что не отобразилось на записи. Будто время просто замерло, будто сама жизнь остановилась для того, чтобы мы с ней могли поговорить. Может это был монтаж?

Я нашел в консоли программу и прогнал через неё запись, чтобы обнаружить нарушения целостности или склейку, но ничего не было. Запись была цела и была она оригинальной, и от этого осознания мне становилось не по себе.

Закончив с записью сессии, я преступил к записи из капсулы, и сверив время начал просмотр момент, когда у меня примерно в том мире появилась метка, что она мне поставила.

В капсуле сначала ничего не происходило, нейрогель обволакивал моё тело и передавал импульсы и сигналы из виртуальной реальности, но в один момент в районе запястья правой руки засияло тусклое свечение, после чего руку охва-

тила легкая дымка и истаяв, оставила на ней еле различимый на экране консоли крест. Тот самый крест что был сейчас на моей руке. Это было невозможно. Я не мог в это поверить и казалось, что я сплю или нахожусь всё ещё в капсуле. Как, в мире в котором магия есть только в книгах, фильмах или виртуальности, могло произойти такое? Что тут происходит? И что мне со всем этим делать...

Я отключил консоль и отошёл от капсулы. Взор мой был обращён на крест на запястье, а в голове была сплошная каша из произошедших событий, неверия в них и вариантов, что были один хуже другого. Первым вариантом было то, что всё произошедшее реально, что ко мне действительно обращалась падшая богиня, и что теперь моя жизнь связана с её волей и тем, как скоро я найду её. Вторым вариантом было то, что из-за постоянного нахождения в капсуле и плохого питания у меня поехала крыша и нужен был отдых, хотя нейрогель обеспечивал тело всем необходимым и оператор мог находиться неделями, а не то что пару-тройку часов в сутки. Третьей же было то, что это чья-то шутка, но и эта теория не выдерживала критики, разбиваясь о факт того, что на записях к капсуле никто не приближался и то, что запись была оригинальной и не подвергалась монтажу.

По телу прошла волна мурашек, а руки начала бить мелкая дрожь. Я не желал верить ни в существование богини, и самым логичным мне казалось простое переутомление, и приняв эту мысль тело немного успокоилось, а в голове со-

зрело решение взять отгул и привести себя и свои мысли в порядок, отоспаться и отдохнуть, насколько это было возможно в моей небольшой квартире с соседями, что вечно бранились так, что слышала остальная половина дома.

Благо с развитием технологий для того, чтобы оформить отгул, отпуск или больничный, не нужно было идти куда-то и оформлять физический документ и ждать согласования, как это было раньше, когда мои родители еще только начинали свою трудовую карьеру. Теперь было достаточно зайти в Программу Федеральной Поддержки Граждан с консоли или телефона, и немного побродив по разделам и найти свой завод или предприятие, отыскать в списках сотрудников своё имя и нажав пару кнопок, дожждаться подтверждения или отказа в требуемом продукте или услуге.

Этим я и занялся незамедлительно, присев на рядом стоящий стул и облокотившись на его спинку, достал из кармана свой старенький телефон, что мне выдала компания, зашел в программу и немного полазив по ней, оформил суточный отгул по причине состояния ментального здоровья, и дождавшись зелёной галочки направился к общей гардеробной.

Глава четвертая. Встреча

Переодевшись и сдав на стойке ключ от комнаты с капсулой, я направился на выход. Домой сразу идти не было желания, и я решил немного прогуляться и направился по тротуару на пешеходную улицу, что располагалась в паре кварталов от меня. Шел неспешно, стараясь не думать о произошедшем со мной и о внезапно появившемся кресте на запястии.

Погода на улице оставляла желать лучшего. Тяжёлые свинцовые тучи давили своей массой и казалось, что их можно коснуться, стоит только протянуть руку. Дождь еще не начал моросить, но о его скором приближении сообщило уведомление, пришедшее на телефон. Я ускорил шаг, чтобы не попасть под него и скорее добраться до укрытия, когда в одном из темных закутков, на грани слышимости услышал возглас и глухой удар. Остановился и обратившись в слух, прислушался к звукам, доносившимся из переулка.

Из переулка доносилась тихая ругань и мат, но видимо никто кроме меня не слышал этого, либо делал вид, что ничего особенного не происходит. Я направился на звук. Тихо, стараясь не шуметь я шёл по заваленному мусором переулку, тут было сыро и мрачно, скудный свет, что пробивался через мрачное небо сюда не доходил ввиду плотной застройки, а уличное освещение, что хоть как-то могла развеять сей

сумрак, еще не включилось.

Впереди, среди теней я заметил движение, кто-то боролся. Но в один момент всё резко затихло и движение пропало. Я шёл дальше, прячась в тенях, стараясь не привлекать внимания, что было сложно из-за мусора, которого казалось становилось всё больше и больше. Оставалось около пяти метров, когда одна из банок, что попала под ноги, отправилась в полёт, оглашая весь переулок звоном металла о асфальт.

Тень впереди ожила и двинулась в моё сторону, а из-за её спины слышались всхлипы и стоны.

— Слышь, сопляк, валил бы ты отседова,— сказал вышедший из тени бугай с самодовольной улыбкой на лице, испещрённым шрамами — а то присоединишься к ней.

Он медленно шёл на меня, а за его спиной я только сейчас увидел тело девушки с разорванной блузкой и завязанным ртом. Видимо она и было причиной шума, что я услышал. А бугай тем временем достал из-за пояса небольшой ножик и перебрасывал его из руки в руки, понтуясь и угрожая.

В моей голове пронеслись куча мыслей от того, «почему я не прошёл мимо», до того, «что это конец». Но что-то в глубине не давало пройти мимо и заставило повернуть в этот злосчастный переулок, но что это было я так и не понимал.

Тем временем бугай уже подошёл достаточно близко, чтобы я мог почуять запах севухи, что исходил от него.

— Эй, ты оглох!? – сказал он, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки – Или ты тупой?! Вали говорю, если

жизнь дорога!

— Отпусти девчонку и уйду – сказал я, не ожидая от себя данной реплики, слова будто сами вырвались из меня – или тут гнить и останешься.

— Что?! Да ты охренел! – осклабился бугай, заноса нож для удара – ну тогда, прощайся с жизнью...

Я видел всё как в замедленной съемке и не отдавал себе отчёта о том, что делаю. Всё происходило на рефлексках, будто их вколачивали в меня годами. Вот его нож идет по дуге в мой живот, вот я отступаю в сторону и легким ударом выбиваю его у него из руки. Вот он опешивши смотрит на упавший со звоном на камень нож, в тот момент как мой кулак уже бьёт его в солнечное сплетение, выгоняя весь воздух из него, отчего он сгибается пополам, и я бью ему по загривку плоскостью ладони.

Его тело лежало в луже грязи, я проверил пульс, он был жив. Но я не понимал, как такое произошло, я будто был зрителем в своем собственном теле, а им управлял кто-то другой. Выбросив из головы этот эпизод, я направился к девушке, что была дальше по переулку.

Ей было около 25 лет, к белой блузке и юбке ниже колена, обутых в сапожки. На блузке не хватало пуговиц, а юбка разошлась по шву, на руках и ногах были синяки и путы, видимо от рук бугая, а на лице была разбита губа, но глаза так и горели.

Я развязал ей руки и снял кляп, что бы она могла спокой-

но вздохнуть.

— Спасибо, что выручили – сказала она, пока я развязывал ей узел на лодыжках.

— Было бы за что, - ответил я ей подавая руку, чтобы помочь подняться. – надо убираться, пока он не очухался.

— Думаю вы правы. – согласилась она, поднявшись и посмотрев на тело, что лежало в луже, и видимо не собиравшееся ближайшее время приходить в себя. – Вам не сложно будет проводить меня, я работаю рядом.

— Хорошо – согласился я, беря её под руку, чтобы она не упала – всё одно собирался прогуляться перед тем, как пойти домой.

Неспеша мы направились по переулку на оживлённый проспект где сновали люди, которым было безразлично всё, что их не касалось. Никто не обращал на нас внимания в этой серой, безликой массе, лишь пара молодых охранников у одного из ресторанов ухмыльнулись, глядя на то, как мы вышли из переулка. Причина этого была понятна. Молодой парень вышел из темного, укромного переулка с довольно привлекательной девушкой, на которой была разорвана одежда и виднелись ссадины на руках и ногах.

Мы прошли еще немного, когда вышли к небольшому кафе зажатому между двумя домами. Оно выглядело ярко и уютно, мягкий, тёплый свет из окон не бил по глазам, а за столиками на мягких диванчиках уютно устроились посетители. Спасённая мной девушка попросила присесть за сто-

лик и дожидаться её, а сама направилась к служебному входу.

Я устроился за столиком в углу открытой веранды и открыл меню, предложенное мне одной из сотрудниц заведения. Аппетитный запах дразнил мой изголодавшийся организм, а фотографии еды в меню обещали очень вкусные блюда. Желудок же напомнил о себе издав низкое, утробное урчание. Осмотрев меню, я заказал чай с облепихой, торт с вишнями, лёгкий куриный суп и отварной картофель с котлетами.

Минут через десять мой заказ принесла та самая девушка, которую я и спас. Она выглядела еще более привлекательно в униформе сотрудницы, а ссадины на лице прикрывала косметика. Она расставила блюда, исходящие паром передо мной, а сама присела напротив и налила себе чай.

— Спасибо что помог мне - сказала она, грея руки о чашку. — я не так давно в этом городе, и мне некому обратиться было за помощью, а всем остальным безразлично, куда тащат какую-то девчонку. Все делали вид что их это не касается, лишь бы проблем не заработать...

— Не за что, амм... - я замялся, потому как не знал её имени, но увидел бейдж приколотый к униформе – Ангелина. Думаю, будь люди сознательнее, тебе бы помог кто-то и помимо меня. Меня Дмитрий зовут кстати...

— Приятно познакомится, Дмитрий. — подняв глаза от чашки, ответила она чуть улыбнувшись. — ты не против, если в качестве благодарности я оплачу твой ужин?

— Если только в качестве благодарности, а то со стороны может показаться что я альфонс, раз за меня платит такая милая девушка. — согласился я

— Вот и договорились! Тогда приятного аппетита! А мне надо работать, и, еще раз спасибо большое что спас меня, Страж Димитрий! — просияла девушка и выпив остывший чай залпом, встала и собралась уйти.

— Что? Как ты меня назвала? - я не придал сразу внимания, но опомнившись, опешил от сказанных ею слов, и переспросил её.

— Дмитрий, - ответила Ангелина, не понимаю с чего такой вопрос — а что?

— Нет, ничего, видимо слышалось. — успокоился я и постарался выбросить это из головы. Видимо усталость сказывается. Надо ужинать и отправляться домой отдыхать. — Последнее время было напряжённым, видимо сильно слишком устал, извините.

— Ничего, еще раз приятного аппетита. — сказала Ангелина и лёгкой походкой направилась по залу, с блокнотом в руках для записи заказов.

Блюда, что мне принесли, хоть и были просты, но быстро утолили мой голод. Чай же с куском торта сделали свое дело и меня стало клонить в сон от сытости. Найдя Ангелину, я уточнил с ней момент по оплате и, попрощавшись, направился неспешно вниз по проспекту в сторону дома.

Наступившие сумерки сгустили и так мрачную погоду,

свинцовое небо давило, а пронизывающий ветер казалось продувал насквозь и пробирал холодом до костей. На улице горели старые фонари, издающие низкий гул и дающие неровный, жёлтый свет. Неверные тени, отбрасываемые этим светом от деревьев и кустов, казались живыми и будто двигались следом за мной, словно сопровождали меня к дому как безмолвная охрана. Я ускорил шаг, стараясь скорее добраться до дома, где собирался принять душ и лечь спать, что бы тело наконец то могло отдохнуть и набраться сил.

Чем ближе я подходил к дому, тем темнее становилось. Казалось еще немного и я не увижу собственного носа, а мрак смогу схватить руками. Лампочка над дверью подъезда мерцала и грозила перегореть, оставив меня без единственного ориентира в этой темноте. Я приложил электронный ключ к двери и потянул за ручку. Раздался раздражающий, противный скрип несмазанных петель, будто дверью не пользовались очень давно, хотя её и поменяли всего месяц назад, после того, как какой-то неадекватный гражданин решил вскрыть её при помощи своего автомобиля и на всём ходу врезался в неё, после чего отправился в больницу в сопровождении милиции, а его машину отправили на продажу в счёт компенсации ущерба, средств от которой только и хватило на замену двери, сам же он остался должен еще оплатить штраф, который ему присудили отбрасывать общепольными работами на благо общества ближайшей два года.

Шагнув в подъезд, я поднялся на свой этаж и отпер дверь

служебной квартиры. Через стенку как всегда шумели соседи. Кто-то смотрел выпуск новостей с очередной пропагандой о повышении уровня жизни в стране и снижении уровня бедности. С другой стороны, чья-то жена капала на мозг своему мужу о том, что он опять пришел пьяным и что дома шаром покати, что не приносит денег, и что она уедет к маме. Сверху же по обыкновению играла музыка, что-то из Нео рок групп.

Дом, милый дом.

Пройдя в квартиру и захлопнув за собой дверь, и прошёл в спальню и скинул вещи в ящик для грязного белья, надо будет постирать, а то уже полный. Взял чистый комплект и, пройдя через кухню и заварив чай, направился в душ. Горячие, тугие струи ударили по промозглому телу, согревая меня и давая каплю бодрости, после чего я отключил горячую воду и по мне прошла вода контрастной, холодной воды, что окончательно привело меня в норму, и, казалось придало сил, но я понимал, что это временно, и стоит перекусить и положить голову на подушку, как глаза сами собой закроются.

Выйдя из душа и выпив чашку еще теплого, пакетированного чая без названия, я направился отдыхать, закинув телефон на зарядку и выключив звук. Я собирался выспаться в свой отгул и дать отдохнуть себе и своему организму.

Глава пятая. Сон

За окном моросил дождь, его капли, мерно бьющиеся о стекло, разбивались и стекали вниз, на откос, откуда продолжали свой путь капая вниз на дорогу и прохожих. Тьма сгущалась вокруг, и лампочка над подъездом, что мерцала последнее время, не выдержала и перегорела окончательно, полностью погрузив двор во тьму, лишив тот единственного источника света. Тени больше не плясали и не скрывались, они завладели этим участком земли и стремились дальше, тянулись к окнам, откуда еще лился ровный, теплый электрический свет, но что так и гас, по причине того, что все его соседи отправлялись спасть и гасили последние источники света, что могли преградить путь мраку.

Дмитрий ворочился в кровати, сон был беспокойным. На его лбу проступили капли влаги, а всё постельное белье уже давно пропиталось его потом. Под мерный стук дождя через окна казалось проникает сама тьма, что пыталась дотянуться до него.

— Димитрий... Димитрий... - тихий голос звал из пустоты. – Димитрий! Очнись!

Подчинившись зову и открыв глаза, первое что я увидел, это было небо. Я лежал на спине, а с ярко-алого, закатного неба мне на лицо падали холодные снежинки, что сразу таяли от тепла моего тела. Оперевшись на локти, я поднял го-

лову и осмотрелся вокруг.

Я лежал по середине каменной площади, сложенной из гранитных блоков, подогнанных так точно, что волос не везде смог бы протиснуться. Вокруг площади был густой, еловый лес, поросший кустарниками и мелкой порослью. За лесом же возвышались снежные шапки горных пиков, теряющихся в круговерти падающего снега. Я был тут один, и безмолвный лес это подтверждал. Только шум ветра свистел в кронах деревьев.

Встав на ноги осмотрел я и себя. На мне была стальная, ламеллярная броня, цвета вороного крыла. На поясе был короткий меч, а рядом, не снегу, валялся каплевидный щит с крестом, таким же, как и на моем запястии, а на нем лежал шлем с откидным забралом.

— Димитрий... когда же ты придешь ко мне... - тихо звучал голос такой знакомый, но я не мог вспомнить – приди же, и спаси меня...

— Смертный! – прогрехотал грубый, низкий голос, от которого, казалось, сотрясался сам воздух. – Как ты посмел связаться с этой падшей! За то, что ты связался с ней, ты заплатишь!

Эхо громогласного голоса еще гуляло по площади, когда лес ожил звуками и пришел в движение. Я не понимал, что происходит, но выходящие из зарослей существа не обещали ничего хорошего. Они были похожи на людей, с продолговатыми руками, каждая из которых оканчивалась острием

меча или пики.

Небо посерело и раздались первые раскаты грома. Провеселели молнии осветили погруженную во мрак площадь, подсвечивая существ, что окружали меня. Я подхватил щит и шлем, что оказался мне впору. Стоило мне полностью облачиться в броню, как метка на щите засияла мертвенно бледным светом, а тени казалось удлинились.

— Димитрий! Я дам тебе часть своей силы! Сражайся! — всё так же тихо прозвучал голос — Важна только победа...

Что тут черт возьми происходит! Я негодовал, но первые существа уже бросились на меня. Спрятавшись за щитом, принял первые удары напавшего на меня монстра. Он обрушил на меня град ударов, но щит держался, в то время как его напарники медленно сужали кольцо вокруг меня. Вариантов не было. Либо сражаться, либо умереть тут. Приняв очередной удар, я подгадал момент и отступил в бок, уходят с линии очередного удара. Тварь просеменила вперед по инерции и мой меч обрушился на неё, угодив точно по шее, отделив голову от туловища, которое прошло ещё пару шагов и не успев коснуться припорошенной снегом земли, истаяло в воздухе тысячами иск, что потянулись ко мне и впитались в символ на щите.

Смерть товарки для её сородичей стала словно сигналом, и она повалили на меня реорганизованной толпой, будто от того, кто первый меня достанет, зависела их собственная жизнь. И направился к ближайшему существу сам, и приняв

его удар на щит, подсёк ему ногу, отчего тот упал на колени и завершил свою жизнь с проткнутой шеей, после чего распался на искры и все повторилось.

Монстры нападали по две, трое, четверо, но всегда нападали только спереди и никогда со спины, будто это было ниже их достоинства. Это играло мне на руку, потому как я мог принимать удары на щит и из-за него и атаковать. В один из таких боев, когда казалось, что монстры на исходе, а остались только эта пара передо мною, мимо уха, чиркнув о шлем, пропела стрела и увязла в одном из деревьев позади меня. Я рефлекторно вскинул руку, как дела сотни раз в виртуальном мире, и ожидая что оттуда вырвется шар света и поразит лучника. Но всё пошло иначе.

Тьма сгустилась у кончиков пальцев и вместо вспышки света, с руки сорвался сгусток тьмы, мрачный как сама ночь. Он устремился к лучнику, что засел на краю площади, скрываясь за кустарником. Он не был похож на этих существ, больше всего он походил на человека, только доспех его был полусгнившим, а кожа впала и была пепельно-серого цвета. Он выпустил очередную стрелу, когда моя магия достигла его. Его глаза, что до этого были как два кратера пустоты, засияли тем же мертвенно бледным светом, что и символ на щите, а я почувствовал, как силы из меня понемногу утекают. Но в следующий момент он перестал стрелять в меня и начал пускать стрелы, что теперь, казалось, были сотканы из тьмы, в существ, что наседали на меня. Лучник встал на мою

сторону, и медленно смещался в мою сторону.

Одна из его стрел удачно угодила в голову существу, отчего то рассыпалось искрами, второго же я подловил и отсёк ему голову. На этом монстры закончились и на поляне остались только я и бледный лучник, что теперь стоял рядом со мной и казалось даже не дышит.

— Ты победил... хорошо...очень хорошо – голос звучал теперь чуть громче – Я не ошиблась в тебе, Димитрий... Ты смог использовать силу и смог подчинить себе низшее умертвие. А теперь пора просыпаться... Вставай...

Что? Это был сон? Умертвие? Я ничего не понимал, но почувствовал, как силы меня покидают, и как мое тело падает на холодную землю, после чего я отключился.

В следующие мгновение я резко открыл глаза и сел на край кровати. С меня ручьями стекал пот, а сердце бешено колотилось. Взглянув в окно, я заметил, как сгустившиеся тени отступают перед первыми лучами солнца, что рассеивали мрак во дворе и уже золотили верхушки деревьев.

Встав с постели, я направился в уборную привести себя в порядок. Скинул с себя промокшую одежду и зайдя в ванну, включил воду. Тугие, бодрящие струи воды били по мне, приводя мысли в порядок и прогоняя остатки сна. Обтеревшись полотенцем, взглянул в зеркало на себя. На меня смотрело молодое лицо со светло-русыми волосами, синими глазами с пепельными вкраплениями и лицом, покрытым щетиной.

Закончив с водными процедурами, я нашел чистый комплект одежды в шкафу и надев его, направился в кухню готовить завтрак из того, что было в холодильнике. Походя закинул грязные вещи в стирку, нажав пару кнопок и закинув капсулы с моющим средством машинка зажурчала водой, начиная стирку.

Войдя на кухню, меня встретила гора грязной посуды и упаковок от еды на вынос. Открыв холодильник, понял, что в нём мышь повесилась и что надо будет пойти вниз за продуктами. Но так как время было до открытия магазина ещё много, решил навести порядок и достав мусорное ведро начал скидывать туда всё, чем была захламлена кухня. Спустя пару минут у двери стояла пара мешков с мусором, а в раковине своей участи ждала посуда, за которую я и принялся следом. Открыв кран с водой, из него пошла ледяная вода, не становясь ни на градус теплее. Прикрыв кран понял, что горячей воды опять нет. Но деваться было некуда и открыв кран и жирнее смочив губку моющим средством, начал мыть посуду. Спустя минут десять, на стёке лежала горка мытой посуды, а мои руки только что не дрожали от пронизывающего их холода. Что бы согреться, щёлкнул чайником и, налив чашку зеленого чая, приложил к ней руки и стал понемногу отхлёбывать. Тепло разносилось волной по организму, а руки пощипывало от прилива тепла.

Пока пил чай, глаз зацепился за символ не запястии. Крест будто стал более выраженным и теперь его обрамляла

тонкая линия вдоль всего края, еле заметная глазу. Я не придал этому особого значения и, допив чай, сполоснул чашку и направился к двери. Прихватив мусорные пакеты, вышел на площадку где был мусоропровод. Стоило его открыть, как оттуда пахнуло гнилостью и нечистотами. Кинул туда пакеты и отступил на шаг, чтобы вздохнуть свежего воздуха у окна, что было вечно открытым ввиду отсутствия форточки, которую видимо оторвали когда-то с корнем, о чём свидетельствовала рама, на которой отсутствовал кусок в том месте, где должны были быть петли.

Спустившись вниз я вышел во двор и направился к магазину, что был в соседнем доме. На улице уже пригревало солнце и лёгкий ветер гонял влажный после дождя воздух. Подойдя к магазину, я увидел на его крыльце сидящего котёнка. При моём приближении тот вначале зашипел, медленно пятясь назад, после чего у него встала дыбом шерсть, и он убежал в переулок, за угол дома. Я не придал этому значения, мало ли что он увидел.

Закупившись в магазине продуктами, я направился обратно, но перед тем как пойти домой, поставил на крыльцо магазина открытую баночку с кормом для кошек, ведь не просто блохастый тут ошивается, видимо его подкармливали сотрудники магазина, а так может и бояться в другой раз не будет меня.

Вернувшись в квартиру, направился в кухня, чтобы разобрать пакет и приготовить шакшуку на завтрак. Помыв ру-

ки, взялся за овощи, порезал томаты и перец, лук и чеснок, приготовил специи. На разогретую сковороду закинул лук, и помешивая, подождал пока тот подрумянится, а по квартире распространится такой простой, но аппетитный аромат. Добавил к нему нарезанным болгарский перец и следом чеснок, перемешал и дал потомиться, наполняя квартиру ароматом жаренных овощей, следом добавил нарезанные без кожицы томаты и начал помешивать получившийся соус, поперчил и посолил. Спустя пару минут, когда соус стал однородным, сделал в углах углубления и разбил туда яйца, так, чтобы желток остался целым, и убавив газ, оставил блюдо готовиться. Сам же занялся завариванием чая, рассыпного, что купил в магазине, а не пакетированного, от которого там было только название. Спустя ещё несколько минут завтрак был готов. На блюде исходя паром и манящим ароматом была яичница с томатами, рядом свежезаваренный черный чай с долькой лимона, а в палочке малиновое варенье. Желудок требовательно заурчал, напоминая о том, что он давно не ел, и что не против перекусить, чем я и занялся, не дожидаясь пока еда остынет.

Глава шестая. Галлюцинации?

Плотно позавтракав и убрав за собой посуду, чтобы она не копилась, я направился в свою комнату. Развалившись на кровати, я начал искать информацию о происходящем со мной. Что это за крест? Что за падшая?

Глобальная сеть хоть и была переполнена разнообразной информацией, от чего-то полезного, до откровенной чуши, не могла мне помочь так, как я того хотел. Там было только описание того, что этот крест был одним из символов богини славянской мифологии, Морены, которой поклонялись во времена язычества. Она была богиней Зимы и Смерти, но не злом во своей плоти, а необходимостью, частью круговорота природы.

Но это не объясняло для меня ровным счётом ничего. Единственно раз она была богиней Смерти, то было понятно почему во сне я подчинил себе Умертвие. Но не объясняло почему и как появился этот крест.

Следующим пунктом я решил проверить то, куда она меня хотела отправить. Она говорила искать её на севере. Но Север был бескрайним на нашей необъятной родине. Я листал страницу за страницей, смотрел карты с названиями поселений, но ничего не шло в голову.

— Калгуев – на грани слышимости прозвучал голос в моей голове – ищи остров...

Я подумал, что у меня уже галлюцинации начинаются, ведь в комнате был один, да и соседей слышно не было, то тем не менее проверил это название.

Поисковик сразу выдал результат. Данный остров располагался на крайнем севере в нынешнем Баренцевом море. Недалеко от Нарьян-Мара. Судя по описанию климат там был суров. Температура могла опуститься до минус сорока пяти градусов зимой, а летом поднималась не выше плюс тридцать. Растительность составляли мхи да лишайники, а из животных остались олени, песцы да лисы. И то только потому, что в своё время остров сделали заповедной зоной и запретили охоту. Населяли его Ненцы, занимающиеся рыбным промыслом, как и все прочие поколения до них. Их поселение было расположено на востоке острова и связь с материком поддерживалась судоходством и редким авиасообщением на рядом расположенный аэродром.

Эта информация мне не давала ровным счётом ничего, и, немного поразмышляв я решил записаться на приём к врачу, чтобы пройти осмотр в связи с последними событиями.

Открыв приложение, нашёл ближайшую клинику и открыл вкладку с врачами общей практики. Мне повезло и на сегодня было окна в приёме, которое я поспешно и занял. Запись была на обед, через пару часов, которые я решил провести с пользой и вздремнуть. Поставил будильник на время за пол часа до приёма и улёгся на кровать. Плотный завтрак дал о себе знать и глаза начали стремительно закрываться.

Не прошло и пяти минут, как я уже уснул и вновь попал на ту же опушку.

Холодный ветер кидал в меня горсти снега, что крупной сыпал с серого неба и у земли закручивался в завихрениях, делая местность непроглядной. Через эту пелену я лишь смутно угадывал очертания окружающего меня леса, гор же, что были ранее видны в дали, видно не было. Я был одет всё в тот же комплект брони, только на этот раз рядом со мной ещё было то умертвие, которое я подчинил в прошлый раз. Оно стояло безмолвно и недвижимо, словно ожидало приказа к действию.

— Димитрий... - прозвучал голос в пелене – тебе надо отправиться на тот остров, там ты найдешь ключ... поспеши...

— Что? Какой ключ? – за озибался я вокруг ища хозяйку голоса взглядом, но на поляне было всё так же пусто. Только я и Умертвие. – Кто ты?

— Кто я? – голос был слегка удивлённым – Та, кого ты повстречал в том мире... или ты думаешь это был сон?

— Падшая? – пришла моя очередь удивляться – Но ведь то было всё игра? Тебя же не существует!

— Да, да...не существует... в вашем мире. – с иронией прозвучал голос – но МОЯ метка говорит об обратном. Ты связан со мной и знаешь цену того, если не исполнишь обещание!

— Что? Но... Как такое может быть... - я был немного ошарашен и пытался вспомнить обещанное в той игре. – Я

ведь обещал освободить тебя или погибну, если не исполню данное мной слово...

— Вспомнил наконец-то... хорошо. — спокойно прозвучал голос. — Да и не умрешь ты, совсем, просто станешь таким же, как и это Умертвие. Слабым и безвольным слугой. Хах...

— ... Но как мне найти этот твой ключ! — я был в шоке от происходящего, и надеялся, что это всего лишь сон.

— За это можешь не переживать, но вначале попади на остров, а там ты сам всё поймешь. — прозвучал голос, начиная затихать. — а теперь пора просыпаться... Вставай!

Стоило ей сказать это, меня как молотом в грудь ударило, и я провалился в беспамятство, чтобы в следующий момент очнуться на своей постели сырым от пота и с частым сердечным ритмом, будто сердце из груди выпрыгнет сейчас. Было такое ощущение что я пробежал кросс километров в десять и только что резко остановился. Я поднялся и занял сидячее положение и почувствовал в груди боль. Скинув футболку и подойдя к зеркалу, я увидел на своей груди лилово-синее пятно в форме квадрата. Грудь болела, но, прощупав рёбра, я осознал, что они целы, а это только поверхностный ушиб. Надеюсь он скоро сойдет, хотя, зная по опыту, такие синяки сходят неделями. Веселее мне от этой мысли не стало, и, взяв чистый комплект вещей я вновь направился в душ, после чего следовало отправиться на приём к врачу.

Освежившись и накинув свежую одежду, я направился в

больницу, что была рядом. Погода, как зачастую бывает в Питере, не баловала теплом. С неба моросил мелкий, холодный дождь, который и дождем назвать было стыдно. Из-за чего небо была свинцовым и всё вокруг казалось серым и унылым. Но только прожив тут достаточное время, начинаешь ценить эту холодность и угрюмость что приходит с Балтики. Начинаешь видеть красоту в этих пятидесяти оттенках серого и любоваться миром и городом. Он обретает в твоих глазах истинный шарм и лёгкий флёр романтики. Особенно гуляя вдоль набережной Невы вечером, когда зажигают чудом сохранившиеся фонари, что горят неровным, желтым светом, словно небольшие солнца, а с воды на тебя веет влажным ветерком. И ты, идя с кружкой чая или кофе просто любишься старыми зданиями и погружаешься в эту атмосферу истории, когда всё было не столь плачевно и когда люди были чуть свободнее, чем в наше время полного контроля.

Вот и сейчас, идя по мокрому тротуару, я любовался окружающими постройками. Но это было недолго. Пройдя квартал и завернув за угол, передо мной появилась современная, серая коробка больницы, здание без души и эстетики, не вписывающееся в этот город. Пройдя ворота, я направился ко входу в регистратуру.

Пройдя в регистратуру и надев бахилы, которые казалось не претерпели изменений за последние несколько десятков лет, я подошёл к терминалу автоматической регистрации.

Отсканировав код из приложения и получив талончик с временем и номером кабинета, направился на нужный мне этаж.

У кабинета как обычно сидели несколько женщин глубоко пенсионного возраста и что-то живо обсуждали между собой, яростно жестикулируя и временами повышая голос. Это больше походило на спор, чем на милую беседу между старыми знакомыми. А понял я это, оказавшись невольным слушателем их милой беседы.

— Ну вот, смотри, опять Марина из процедурного с тем молодым ординатором в коридоре шепчется! — всплеснула руками одна из пенсионерок, будто пыталась смахнуть нелепую мысль, а потом ткнула пальцем в сторону коридора, да так резко, что чуть не задела стопку журналов на столике, что лежали там для времяпрепровождения ожидающих своей очереди пациентов. — Уж третий раз за неделю вместе кофе пьют! Тут уж никаких сомнений! — Да ладно тебе, это она ему про давление тёти Зины рассказывает, не выдумывай, — махнула рукой сидящая рядом с ней женщина в летах, закатив глаза, и тут же поморщилась: нога затекла от долгого сидения, она поёрзала, устраиваясь поудобнее. — А вот доктор Семёнов, терапевт... вот кто мастер по улыбкам. Вчера ко мне зашёл, так вежливо всё расспросил, а глазато бегают! Прямо как у кота, который сметану утащил! — Ой, да он со всеми так: «Как самочувствие?», «А что кушали?», а потом ещё и шоколадку предложит, — третья сердито фыркнула. Она наклонилась вперёд, почти нависая над столиком,

и понизила голос до шёпота, но в нём звенела обида: — Я как в регистратуре стояла — слышала, он медсестре шепнул: «Вы сегодня особенно хорошо выглядите». Ну куда это годится? Мы тут сидим, ждём по часу, а он комплименты раздаёт! — Да ну, он просто внимательный. У него работа такая — людям нравится, — вторая резко развернулась на жёстком пластиковом стуле и заговорила твёрдо, будто отбивалась от несправедливости. — Вон как Лидию Петровну на прошлой неделе из кресла поднимал — с такой заботой, будто родную бабушку. Это ж редкость нынче — чтобы руки не тряслись да голос спокойный. — Забота заботой, а про шоколадки не забывай, — первая фыркнула и, скрестив руки на груди, откинулась на спинку стула так, что тот тихонько скрипнул. — Ему бы диагнозы ставить, а не флиртовать. У меня вот давление скачет, а он улыбается... — А мне вот медсестра Наташа нравится: тихая, спокойная, всё по делу, — третья наконец выдохнула и опустила плечи, будто сбрасывая напряжение. Она провела ладонью по краю тумбочки, словно нащупывая опору, и тихо добавила: — Ни сплетен, ни флирта — укол поставит и скажет: «Полежите пять минут». Вот это я понимаю, профессионализм. — Ладно, ладно, не кипятись, — вторая примирительно подняла ладони, будто останавливала невидимую волну, и покосилась на табло с номерами: её всё ещё не вызывали. — Главное, чтобы уколы не больно кололи, а кто с кем кофе пьёт — дело десятое. Нам бы скорее к врачу попасть, да домой. — Вот имен-

но! — третья резко вздохнула, и этот тяжёлый выдох будто разогнал весь накопившийся в тесном коридоре шум: гул голосов, писк аппаратуры, шуршание бумаг. Она снова скрестила руки, но уже не так воинственно — скорее, чтобы просто согреться в прохладном зале. — Мне бы давление сбить да домой скорее. А эти интриги... будто сериал какой, только без попкорна. Да и сидеть тут — не кино смотреть.

Несмотря на то, что талон был по времени, ничего не менялось годами в больницах. Пациенту могло повезти, и, придя к назначенному времени, он мог зайти сразу, а мог и прождать и час и два, потому как перед ним в очереди сидели такие же люди, с временем на более ранние периоды. А всё было из-за того, что врач решил сходить покурить или попить чая с одной из медсестёр. И это было в порядке вещей. Всем оставалось сидеть и ждать столько, сколько нужно.

Спустя час, что я провел в очереди, читая очередную книгу в телефоне по средним векам нашей необъятной, очередь дошла и до меня. Три пенсионерки, что были передо мной, хоть и с явным недовольством от прерванной беседы, были быстро приняты и вместе направились дальше по коридору, видимо обсуждая следующих врачей и сплетничая о отношениях в данном медицинском учреждении.

Убрав телефон, я вошел в кабинет врача.

Глава седьмая. Здоров

Кабинет оказался типичным для районной поликлиники: небольшой, заставленный шкафами с папками, кушетка с застиранной простынёй у стены, ростомер, электронный тонометр, стол заваленный бланками направлений. Запах — микс хлоргексидина, старого линолеума и чего-то сладковато-аптечного, от чего всегда слегка мутит. На окне — жалюзи, одно ребро сломано и висит криво, пропуская полосу серого света.

За столом сидел мужчина лет тридцати пяти, в очках с тонкой оправой и белом халате, на бейдже — «Семёнов А.В., врач-терапевт». Тот самый Семёнов, о котором пенсионерки в коридоре говорили с таким жаром. Вблизи он выглядел иначе, чем они описывали: не хитрец и не ловелас, а просто уставший человек с мягким взглядом и чуть соевыми висками от долгого рабочего дня.

— Дмитрий? — он сверился с монитором, где светилась моя электронная карта. — Что ж, присаживайтесь. На что жалуетесь?

Я сел на стул с витой металлической ножкой, который слегка покачивался, и на секунду задумался, с чего начать. Как объяснить человеку в белом халате, что ты слышишь голоса, видишь сны, которые оставляют синяки на теле, и что некая «падшая богиня» из виртуальной реальности, кажет-

ся, вполне реальна? Нормальные люди с такими жалобами попадают не к терапевту, а к психиатру, и заканчивают это может куда хуже, чем неделя больничного.

Но молчать тоже не выходило. Синяк на груди ныл, напоминая, что всё это было настоящим. Или по крайней мере — достаточно настоящим, чтобы оставить физический след.

— Доктор, я не знаю, с чего начать, — честно сказал я, потирая переносицу. — Последние несколько дней со мной творится что-то странное. Бессонница, потом резкие провалы в сон, очень реалистичные... сновидения. Слуховые галлюцинации днём — голос в голове, который произносит слова, названия. И... — я замялся, но потом решил, что терять нечего, и стянул футболку.

Семёнов поднял брови, но профессионально сдержался. Просто наклонился ближе, разглядывая лилово-синее пятно в форме квадрата на моей груди.

— Давно появилось? — спросил он, осторожно пальпируя область вокруг синяка.

— Сегодня. После того, как проснулся. Часа полтора назад, может два.

— Травмировались? Ударялись? Может, во сне упали с кровати?

— Нет. Спал на месте, не падал. Проснулся в поту, с учащенным пульсом, и вот это.

Он ощупал рёбра, нажал на грудину — я дёрнулся от боли, но кости были целы, как я и сам уже выяснил.

— Дышите глубоко... Ещё раз... Хорошо. — Семёнов выпрямился, снял очки и протёр их краем халата — жест, который, видимо, был у него привычным, когда он думал. — Давайте по порядку. Голос в голове — когда впервые?

— Вчера днём. Назвал мне место — остров Колгуев, в Баренцевом море. Я проверил — такой реально существует. Потом, во сне, голос повторился. Женский. Говорил, что я должен туда поехать.

— И как вы сами это оцениваете? — в его тоне не было ни снисхождения, ни настороженности. Просто ровный профессиональный интерес.

— Как бред, — сказал я прямо. — Но синяк — не бред. Я не могу его объяснить.

Семёнов кивнул и развернулся к компьютеру, быстро набивая что-то в карте.

— Сейчас сделаем базовый осмотр и экспресс-анализ крови, посмотрим, что вообще происходит. Сядьте на кушетку.

Я перебрался на кушетку с жёстким, почти армейским матрасом. Семёнов измерил давление — 130 на 85, чуть повышенное, но в пределах нормы для моего возраста. Пульс — 92, частый, но он списал это на волнение. Послушал лёгкие и сердце стетоскопом, который был прохладным и пах спиртом. Попросил открыть рот, посмотрел горло, пощупал лимфоузлы под челюстью и на шее.

— Ничего сверхестественного не вижу, — сказал он, перебирая на столе одноразовые наборы для забора крови. —

Лимфоузлы не увеличены, зев чистый, хрипов нет. Давайте кровь.

Укол был коротким и точным — Семёнов действительно умел брать кровь так, что это не было мучением. Капля набралась в капилляр, и он вставил её в маленький белый прибор, похожий на глюкометр, только потолще.

— Это экспресс-анализ — общий развёрнутый, С-реактивный белок, ферритин, ТТГ, — пояснил он, не отрывая взгляда от экрана, где начали появляться цифры. — Пять минут подождём.

Минуты тянулись. В кабинете было тихо — только гудение холодильника с вакцинами в углу и далёкий, приглушённый гул коридора. Семёнов заполнял что-то в карте, изредка поглядывая на прибор. Я сидел на кушетке и разглядывал плакат на стене — «Строение позвоночника» — с выцветшими от времени красками, где диск между позвонками был нарисован подозрительно синим.

— Ну вот, — наконец сказал Семёнов, поворачиваясь ко мне с распечаткой. — По крови — вы здоровы. Гемоглобин нормальный, лейкоциты в пределах, СОЭ не повышена, С-реактивный белок отрицательный — воспаления нет. ТТГ в норме — щитовидка работает. Ферритин на нижней границе, но не критично — это обычное дело для мужчин, которые едят на бегу.

— То есть физиологически со мной всё в порядке?

— Физиологически — да. Пятно на груди я бы классифици-

цировал как посттравматическую гематому неясной этиологии. — Он помолчал, подбирая слова. — Дмитрий, я скажу прямо, без обиняков. Вы молодой человек, согласно анализам крови и обследованию — здоров. Но то, что вы описываете — голоса, яркое сновидение с соматическим проявлением, тахикардия после пробуждения, — это больше похоже на сильное психоэмоциональное перенапряжение, чем на органическую патологию.

Я хотел возразить, сказать, что не чувствую никакого перенапряжения, что жизнь моя последние недели была обычной и рутинной — работа, дом, ужин. Но вспомнил, что действительно спал плохо последнюю неделю: засыпал поздно, просыпался в три-четыре ночи, лежал в темноте, глядя в потолок, и не мог объяснить себе, от чего не спится. И ещё виртуальная реальность — та самая, в которой я повстречал «падшую», где дал обещание.

— Я не психиатр и диагнозов из этой области не ставлю, — продолжил Семёнов, аккуратно подбирая формулировки. — Но я бы порекомендовал вам два шага. Первый — я открываю вам больничный на неделю. Не потому что вы больны, а потому что организму нужен отдых, и формальный повод для работы — тоже отдых. Второй — съездите куда-нибудь. Не в Питерскую область, где опять серое небо и дождь, а туда, где есть природа, воздух, тишина. Лес, озеро, река — что угодно. Смените обстановку. Поживите без экрана, без новостей, без телефона хотя бы часть дня. Если через неде-

лю голоса и сны не прекратятся — приходите, я направлю вас к неврологу и психотерапевту, обследуемся подробнее.

— А синяк?

— Мазь гепариновую два раза в день, сойдёт за неделю-две. Если появятся новые без видимой причины — тогда отдельный разговор и полное обследование, коагулограмма как минимум. Но пока — один синяк после стрессового сна — это не патология.

Он говорил спокойно, без покровительственных ноток, и я ощущал, что он действительно старается. Не отделаться шаблоном, а понять и помочь в рамках своей компетенции. Те пенсионерки в коридоре, при всей их склонности к сплетням, были не так уж и неправы — Семёнов и правда был внимателен. Только не в том смысле, о котором они шептались.

— Больничный на неделю, — повторил он, печатая что-то в системе. — Открыть на сегодня?

— Да, — кивнул я. — На сегодня.

Он дописал, распечатал лист нетрудоспособности, поставил подпись и печать. Передал мне вместе с направлением на гепариновую мазь и короткой выпиской из анализа крови.

— И ещё, Дмитрий, — сказал он, когда я уже застёгивал куртку. — Я серьёзно: телефон хотя бы на ночь убирайте. За час до сна — не экран, а книга, хоть бумажная, хоть электронная. Мозг должен понимать, где день, где ночь. Это банально, но работает.

— Спасибо, доктор, — сказал я и поднялся.

— Не болейте, — ответил он и уже повернулся к монитору, вызывая следующего пациента.

Я вышел в коридор. Табло у кабинета показывало следующий номер — мои пенсионерки давно ушли, на их месте сидели новые страдалцы: молодой парень в чёрной худи с капюшоном, натянутым до бровей, и женщина средних лет с опухшим красным носом и пачкой салфеток в руке. Оба уткнулись в телефоны, не замечая друг друга.

Спустившись на первый этаж и пройдя через регистратуру, я вышел на улицу. Дождь не прекратился, только стал мельче и злее — не капли, а водяная пыль, которая оседала на лице мелкой росой и забиралась под воротник. Я встал под козырьком больницы, вытащил телефон и набрал в поисковике: «Где отдохнуть на природе недалеко от Петербурга».

Поисковик выдал привычный набор: Карелия, Ладога, Финский залив, базы отдыха, кемпинги. Я листал, почти не вчитываясь, потому что в голове крутилось другое. Семёнов сказал: съездить на природу, развеяться. Голос во сне сказал: отправься на остров, найди ключ. И между этими двумя советами зияла щель, в которую проваливался весь мой привычный мир.

Врач считает меня здоровым. Физически — да. Но то, что происходит со мной, не укладывается в рамки медицины. Голос, называющий реальные места. Синяк, появившийся после сна. Метка, которую я ношу с прошлого сеанса в виртуальной реальности. Всё это можно списать на стресс, недо-

сып, перенапряжение — и Семёнов так и списал. Он хороший врач. Он сделал всё, что мог. Но он работает в мире, где у каждого симптома есть органическая причина, а у каждой причины — лечение. Мой случай в эту схему не вписывается, и он это чувствует, хотя не говорит прямо.

Я закрыл телефон и посмотрел на дождь. Серый двор больницы, мокрые берёзы у ограды, чёрный асфальт с лужами, в которых отражались тусклые окна. Где-то далеко, на краю Баренцева моря, лежал остров Колгуев, о котором мне говорили голос в голове и богиня из сновидения. И врач, сам того не зная, рекомендовал мне именно туда: на природу, подальше от города, от экранов, от серого неба.

Правда, Семёнов имел в виду Карелию или Ладогу. А не арктический остров, куда добраться сложнее, чем в некоторые зарубежные страны.

Я усмехнулся. Если бы я пришёл к врачу и сказал: «Доктор, меня зовёт падшая богиня на остров в Баренцевом море, и я должен поехать», — он бы не открыл больничный. Он бы вызвал бригаду. Но он сказал «на природу», а Колгуев — это тоже природа. Пусть и не такая, как на плакатах туристических агентств.

Дождь усилился. Я натянул капюшон и зашагал домой, по мокрому тротуару, мимо тех же старых зданий, мимо набережной, где фонари ещё не зажглись, но уже готовились — тусклые жёлтые точки в окнах фонарных столбов. Город жил своей жизнью, не зная и не заботясь о том, что один из его

обитателей стоит на пороге решения, которое выведет его за пределы всего привычного.

Дома я сел за стол, разложил перед собой больничный лист, распечатку анализа крови и открытую карту Колгуева на экране телефона. Три предмета на столе — три мира. Больничный — мир обыденный, где у меня неделя отдыха. Анализ крови — мир науки, где я здоров. Карта острова — мир, в который меня зовёт голос, обещание и метка на запястии.

Неделя. У меня неделя. Семёнов сказал «развеяться на природе». Голос сказал «попади на остров». Если я этого не сделаю — цена мне известна. Не смерть, а хуже: стать безвольной тенью, как то Умертвие в моём сне.

Я открыл поисковик и набрал: «Как добраться до острова Колгуев».

Глава восьмая. Сборы

Я засиделся за поиском информации о том, как же мне добраться до острова, и уже под ложечкой начинало сосать — верный знак того, что надо отбросить все дела, и, пойти что-то поесть.

Свет из окна падал на стол, где я утром оставил кружку с недопитым, чаем. Рядом лежал больничный лист — аккуратно сложенный, с синей печатью поликлиники. Я переложил его на полку у микроволновки, чтобы не забрызгать, и полез в холодильник.

Половина пачки спагетти на верхней полке, кусок говядины в вакууме, морковь, луковица, банка томатной пасты, чеснок и чуть подсохший базилик в горшочке на подоконнике. Не богатство, но для пасты болоньезе — достаточно. Я готовил её не раз, и руки делали всё почти сами, пока голова была занята другим.

Поставил кастрюлю с водой на огонь, посолил, накрыл крышкой. На разделочной доске мелко нарезал лук — глаз не защипало, я давно привык. Морковь натёр на крупной тёрке, и она легла на доску оранжевой горкой, как осенняя листва. Чеснок раздавил плоскостью ножа и порубил, не слишком мелко — любил, когда он попадает в соус тёплыми кусочками. Говядину нарезал небольшими кубиками: не фарш, а именно кубики, чтобы чувствовать мясо.

На сковороду — капля масла, лук. Он зашипел, и кухня наполнилась первым, самым вкусным запахом — сладковатым, домашним, от которого всегда чуть отпускает напряжение. К луку — морковь, перемешать, дать ей обмякнуть. Потом мясо: оно ужаривается, темнеет, пускает сок, и сковорода начинает булькать густо и ровно. Томатная паста — две ложки с горкой, размешать, добавить воды, чуть сахара, чтобы убрать кислоту. Накрыть и убавить огонь до минимума. Пусть тушится.

Спагетти уже закипели. Я бросал их в кастрюлю веером, не ломая — привычка, которая досталась мне от бабушки: «Не ломай, Дима, макароны должны быть длинные, как дороги». Бабушкина фраза вдруг всплыла из детства, и я замер на секунду, держа в руке щипцы. Потом усмехнулся — именно сейчас мне нужна длинная дорога.

Пока спагетти варились, я сорвал несколько листиков базилика с горшочка, промыл и отложил. Слил воду из кастрюли, откинул спагетти на дуршлаг. Пар ударил в лицо — тёплый, мучной, уютный. На тарелку — горка спагетти, сверху — соус с мясом, густой, тёмно-красный, и несколько листиков базилика для цвета и запаха. Паста болоньезе. Не ресторанная, но своя, и от этого — лучше.

Я ел медленно, у окна, глядя, как город за стеклом медленно гаснет. Фонари зажглись, их жёлтый свет дрожал в лужах, а небо из свинцового стало иссиня-чёрным, и где-то за облаками, наверное, светила луна, но её не было видно. Па-

ста была горячей, соус — густым, с лёгкой сладостью моркови и терпкостью томата. Базилик отдал свежесть, и каждый кусок мяса ощущался как маленькая опора — простая, физическая, реальная.

После ужина я убрал посуду, сполоснул сковороду и встал под контрастный душ. Сначала горячий — почти обжигающий, чтобы смыть усталость дня: больницу, очередь, дождь, запах хлоргексидина, который, казалось, въелся в кожу. Потом холодный — резкий, как пощёчина, выбивающий из тела последние остатки дремотной тяжести. И снова горячий. И снова холодный. Три цикла, как учил когда-то тренер по плаванию: «Горячее расширяет, холодное сжимает, сосуды качают кровь, и мозг просыпается». Сейчас мне нужно было не проснуться, а наоборот — выдохнуть, отпустить день, подготовить тело ко сну.

Последний цикл — тёплый, комфортный. Я стоял под водой, закрыв глаза, и вода стекала по лицу, по плечам, по груди, где под кожей ещё мерцал лиловый синяк, и по запястью, где крест Морены тихо зудел, будто напоминал о себе. Я не стал его трогать. Просто стоял и дышал.

Вытерся, надел чистую футболку и шорты. Квартира была тихой, тёмной, только кухонный свет давал слабое желтое пятно. Я прошёл в спальню, положил телефон на тумбочку экраном вниз — как Семёнов советовал, — поставил будильник на восемь и лёг.

Кровать приняла тело, как принимают старого знакомо-

го. Подушка пахла лавандой — я менял наволочку позавчера, и запах ещё держался. За окном тихо шумел дождь, ровно и монотонно, как белый шум, который в детстве усыплял лучше любого колыбельного. Я закрыл глаза и впервые за несколько дней не ждал голоса, не боялся сна, не прислушивался к шёпоту из ниоткуда.

Просто устал. Просто уснул.

Сон был тёмным, глубоким и спокойным. Ни поляны, ни снега, ни голоса. Ни Умертвия. Ничего. Как будто кто-то выключил канал, который я не мог выключить сам. Тело отдыхало, и я впервые за неделю проснулся не от удара в грудь и не от собственного крика, а от будильника — буднично, мягко, как нормальный человек в обычный вторник.

Утро встретило меня серым, но уже без дождя. Небо было низким, тяжёлым, как ватное одеяло, но сухим. Я потянулся, размял шею — и не дёрнулся от боли. Синяк на груди ещё был, но ныл тише, будто смирился. Метка на запястье не зудела. На секунду показалось, что всё вчерашнее — больница, врач, экспресс-анализ, разговор про голоса и остров — было длинным, вязким сном. Но на тумбочке лежал больничный лист, и его синяя печать возвращала к реальности.

Я встал, умылся холодной водой, почистил зубы. Потом — на кухню. Завтрак был простым: два тоста с маслом и кружка крепкого чая. Масло таяло на горячем хлебе, чай дымился, и запах его — горьковатый, плотный — был, пожалуй, лучшим, что могло предложить это утро. Я ел, глядя в окно,

и думал.

Вчерашний вечер закончился одной мыслью: «Как добраться до острова Колгуев». Сегодня утром она не отпустила, а обрела чёткость, как фотография, которую проявили. Я понимал, что прямого рейса нет, что добраться туда — почти экспедиция. Но из вчерашних поисков я запомнил главное: ближайший к Колгуеву населённый пункт с морским сообщением — Нарьян-Мар, столица Ненецкого автономного округа. И оттуда, при определённой доле упорства и удачи, можно было попытаться найти рыболовецкое судно, идущее в сторону острова.

До Нарьян-Мара шёл скоростной поезд из Москвы — не «Сокол», но фирменный состав, который делал путь за сутки с небольшим. Из Петербурга можно было добраться до Москвы на утреннем «Соколе», а оттуда — уже на север. Отправление скоростного поезда из Москвы в Усинск, ближайший к Нарьян-Мару железнодорожный узел, было назначено на вечер — в восемнадцать сорок. Прибытие — на следующий день, ближе к полудню. От Усинска до Нарьян-Мара — автобус или попутка, часа два-три по грунтовке.

Я открыл телефон, нашёл сайт железных дорог и начал оформлять билет. Выбрал плацкарт — не из экономии, а из привычки: в купе мне всегда было тесно, а в плацкарте, если повезёт с соседями, можно лежать и смотреть в окно, за которым медленно меняется страна. Москва — Усинск, вагон номер семь, место верхнее, боковое. Отправление сегодня в

18:40.

Билет был электронный — пришёл на почту, и я сохранил его в телефон. Сердце стукнуло чуть чаще, но не от страха, а от чего-то другого. Решение было принято, и каждый новый шаг — покупка билета, сбор рюкзака, выход из квартиры — становился маленьким шагом к тому, что ждало меня на севере. К острову. К ключу. К обещанию.

Но до вечернего отправления оставалось время. Я допил кофе, сполоснул кружку и прошёл в комнату, где у стены стоял старый рюкзак — потёртый, но крепкий, из тех, что покупают один раз и на десять лет. Я положил его на кровать и встал перед открытым шкафом.

Сборы. Вот где начиналась настоящая подготовка. Я не знал, что меня ждёт, но представлял: север, холод, ветер, мокрый снег. Не питерская сырость, а настоящая арктическая стужа, от которой мёрзнет лицо и трескаются губы. Мне нужна была тёплая одежда — термобельё, непродуваемая куртка, шапка, перчатки. Обувь — желательно непромокаемая, с хорошей подошвой, чтобы не скользить. Из вещей — фонарик, зажигалки, спички в непромокаемом пакете, небольшой запас еды на дорогу, пауэрбанк для телефона, зарядка, документы. Деньги — наличные, потому что на севере терминалы могут не работать.

Я начал доставать вещи из шкафа и складывать их на кровать рядом с рюкзаком, выстраивая подобие порядка. Термобельё — шерстяное, давно не надеванное, но чистое. Фли-

совая кофта — тёплая, мягкая, любимая. Зимняя куртка — тяжёлая, с капюшоном, на синтепоне, не самая современная, но проверенная. Шапка-ушанка — мама подарила два года назад, и я ни разу не надевал. Перчатки — кожаные, с подкладкой, не идеал для арктики, но лучше, чем ничего.

Из кухни я принёс небольшой запас: два батончика мюсли, пакетик орехов, шоколадка, бутылка воды, чай в пакетиках. Не роскошь, а страховка — на случай, если поезд опоздает или автобус из Усинска не подойдёт. Еду я расфасовал в зип-пакеты и убрал в боковой карман рюкзака, чтобы доставать не шурша.

Документы — паспорт, полис, больничный лист на всякий случай, распечатка билета. Всё в непромокаемый пакет и во внутренний карман. Телефон, пауэрбанк, кабель — туда же. Фонарик — на карабин, наружный карман. Нож — складной, маленький, в карман рюкзака. Не оружие, а инструмент: нарезать хлеб, вскрыть пакет, починить молнию.

Пока я собирал, метка на запястье молчала. Крест Морены не зудел, не горел, не пульсировал. Словно ждал. Словно знал, что я иду.

Рюкзак наполнялся медленно, и каждый предмет, укладываясь на своё место, будто отнимал у меня ещё один повод остаться. Термобельё — последний аргумент в пользу того, что поездка реальна. Фонарик — последний довод против страха темноты. Больничный лист — последнее напоминание о том, что врач сказал «развеемся на природе», а не «от-

правиться на арктический остров за ключом от обещания».

Я застегнул рюкзак и поставил его у двери. На часах было два дня. До «Сокола» на Москву — три часа. До вечернего поезда на Усинск — четыре с половиной. Времени хватало, чтобы, не торопясь собрать туалетные принадлежности, проверить, не забыл ли чего, и ещё раз подумать — правильно ли я делаю.

Я сел на кровать и посмотрел на свою комнату. Всё было привычным: стол у окна, полка с книгами, вешалка с осенней курткой, на которой ещё висели капли вчерашнего дождя. Обычная комната обычного человека в обычном городе. Вот только человек этот купил билет на край света и собрал рюкзак, потому что голос из сна сказал: «Поспеши».

Метка на запястье едва ощутимо потеплела. Я не стал на неё смотреть. Просто встал, взял рюкзак и повесил на плечо.

Глава девятая. Путь-дорога

Я вышел из подъезда, и погода встретила меня неожиданно мягко. Небо было затянуто облаками, но не сплошной пеленой — местами проступали бледные, выцветшие просветы, словно ткань протёрлась на локтях. Ветер тёплый, южный, нес запах нагретого асфальта и чего-то сладковатого — то ли цветущей в чужом дворе акации, то ли просто обещания уходящего лета. После вчерашнего дождя и свинцового неба этот воздух казался подарком, маленькой отсрочкой перед тем, что ждало меня на севере.

Рюкзак оттягивал плечо. Я поправил лямку и зашагал к остановке. До вокзала ехать минут двадцать на автобусе — если повезёт с пробками, которых, по идее, в середине дня быть не должно. Но в Питере пробки не читают расписаний.

Остановка встретила меня привычной картиной: очередь из понурых фигур, сгорбленных над телефонами. Никто не разговаривал. Все молчали, каждый в своём пузыре, и только шарканье ног по мокрому асфальту и далёкий гул города наполняли тишину. Женщина в синем халате поверх серой формы — видимо, с завода — переминалась с ноги на ногу и тяжело дышала. Мужичок в кепке, с кожаным портфелем, смотрел вдаль пустым взглядом человека, который едет на работу уже третий раз за день. Молодой парень в наушниках раскачивался в такт чему-то неслышному, бормоча губами.

Автобус подкатил — длинный, набитый, с мутными стёклами и запахом сырого железа. Я протиснулся внутрь, нащупал поручень и встал, втиснутый между спиной незнакомой женщины и чьим-то рюкзаком, который упирал мне в бок. Автобус качнуло, и все разом качнулись вместе с ним — единый, сонный, безмолвный организм.

Люди вокруг были уставшими. Не тем ярким, свежим отдыхом, который приходит после хорошего сна, а той серой, въевшейся в кости усталостью, которая становится частью человека и уже не отпускает. Вот женщина у окна закрыла глаза, и её голова медленно клонилась к стеклу, а потом дёргалась — она ловила себя и снова закрывала глаза. Вот мужчина в рабочей куртке, с мозолями на руках, стоял, вцепившись в поручень, и смотрел в одну точку — куда-то сквозь людей, сквозь стену, сквозь весь этот день, который у него впереди.

Я и сам был из этих. Серая форма, серый автобус, серые люди. Только рюкзак за спиной отличал меня — он означал, что я еду не на завод и не в техникум. Я уезжаю. И от этой мысли внутри что-то тихо вибрировало, как натянутая струна, которую тронули мизинцем.

Автобус качался на стыках, тормозил, снова набирал ход. За окном мелькали те же дома — серые бетонные коробки, одинаковые, как солдаты в строю. Я смотрел на них и думал: завтра я увижу другие. И послезавтра. И послепослезавтра — пока не доберусь до острова, о котором ещё вчера не знал

ничего, кроме названия, прошептанного голосом в голове.

Вокзал встретил меня гулом толпы, запахом дешёвого кофе и металлическим эхом объявлений. Я прошёл через турникет, отсканировал паспорт у терминала автоматической регистрации — экран мигнул зелёным, и из щели вылез узкий билет на «Сокол» до Москвы. Отправление через сорок минут. Я сунул билет во внутренний карман, перекинул рюкзак на другое плечо и направился к платформе.

«Сокол» стоял у перрона — длинный, белый, с красной полосой по борту и гербом Федерации на локомотиве. Современный скоростной поезд, один из тех, что связали крупные города после Войны, когда Федерация восстанавливала транспортную сеть. Внутри было чисто, светло, пахло пластиком и тканевой обивкой. Я нашёл свой вагон, предъявил билет проводнице — приветливой женщине с короткой стрижкой и крепкими руками — и прошёл в плацкартный отсек.

Моё место было верхнее, боковое. Я забросил рюкзак на багажную полку, снял куртку и устроился, вытянув ноги к стене. Поезд ещё стоял, и за окном медленно перемещались фигуры пассажиров, спешащих к вагонам.

— Извините, это ваше место? — раздался голос снизу.

Я свесил голову. У нижней полки стоял парень лет двадцати восьми, русоволосый, с лёгкой щетиной и живыми карими глазами. Рядом с ним — девушка примерно того же возраста, с тёмной косой, уложенной короной вокруг голо-

вы, и загаром, который бывает только у тех, кто много времени проводит на открытом воздухе. Оба в лёгких трекинговых штанах, ботинках с массивной подошвой и ветровках, из карманов которых торчали углы карт.

— Нижнее ваше, — уточнил я. — Я сверху.

— Отлично! — парень улыбнулся и закинул свой рюкзак — потёртый, обвешанный карабинами и стропами, настоящий походный — на багажную полку. Девушка села рядом, поджав ноги, и тут же раскрыла карту на телефоне, что-то разглядывая.

— Алексей, — протянул руку парень.

— Дмитрий.

— А я Марина, — девушка подняла глаза от карты и улыбнулась — открыто, без церемоний. — Лёш, покажи ему, мы же всё равно рядом сидим.

— Угу, — кивнул Алексей и повернулся ко мне. — Мы до Москвы. А оттуда — на Камчатку.

— На Камчатку? — я приподнял брови. — Это же на другой конец страны.

— Ага, — Алексей усмехнулся. — Сопки. Там осенью особенно хорошо — вулканические склоны в багрянице, горячие источники парят, медведи на рыбалку выходят. Мы уже год туда собираемся.

Поезд тронулся. Платформа медленно поплыла назад, и в окне замелькали окраины Питера — последние бетонные дома, склады, эстакады, а потом — зелень, поля, мелкие стан-

ции.

— А вы туристы? — спросил я, устраиваясь поудобнее на своей полке.

— Что-то вроде, — Марина оторвалась от карты и посмотрела на меня. — Мы обозреватели. Работаем в сетевом журнале «Родные просторы» — это про природу, путешествия, красоту Федерации. Лёша фотографирует, я пишу. Каждый месяц — новый репортаж. За два года объехали полстраны.

— Серьёзно, — я повернулся к ним с искренним интересом. — И где вы были?

— О-о, — Алексей загнул палец. — Начали с Кавказа — Дагестан, горные аулы, каньоны. Потом Байкал — зимой, когда лёд гремит и трещит под ногами, это знаете, такое ощущение, будто стоишь на спине живого существа. Марина тогда чуть не ушла под воду, когда прокатилась на «Хивусе» по битому льду, но я её удержал.

— Ты меня не удерживал, ты снимал, как я кричу, — Марина ткнула его локтем в бок, но смеялась. — А потом был Алтай — Чуйский тракт, Катунь, белые горы на горизонте. Там мы заночевали в юрте у алтайцев, и хозяин рассказывал про то, как меняется река в зависимости от времени суток. Утром она бирюзовая, вечером — стальная.

— Карелия была, — продолжил Алексей. — Ладожские шхеры на байдарке. Дождь, ветер, комары размером с вертолёт — и при этом такая красота, что зубы стискиваешь и гребёшь дальше. Скалы из гранита, сосны корнями в воду,

тишина, в которой слышно, как падает шишка.

— Уральские горы — осенью, — подхватила Марина. — Таганай. Когда поднимаешься на перевал, и перед тобой — ковёр из золотой и багряной листвы до самого горизонта, а сверху — такое небо, какого в городе не увидишь. Чистое, глубокое, будто выпуклое. Мы там заночевали в палатке, и я впервые увидела настоящий Млечный Путь. Не тот, который на фотографиях, а живой — туманная светящаяся река через всё небо.

— А ещё Сахалин, — Алексей мечтательно прикрыл глаза. — Тёплый морской ветер, скалы Тыра, маяк на мысе Крильон. Тихий океан — он не тихий, кстати, он огромный и серьёзный. Мы там видели нерпов — тюленей, которые лежат на камнях и смотрят на тебя с таким видом, будто ты у них в гостях.

Я слушал и забывал обо всём. Мне, человеку, для которого путешествие — это автобус до вокзала и поезд до Москвы, их истории звучали как сказки. Не виртуальные, не из капсулы — настоящие, из кожи и ветра, из пота и мокрых ботинок. Я завидовал — тихо, без злости, а с тем светлым чувством, когда видишь, что кто-то живёт так, как ты и не подозревал, что можно.

— А вы куда едете? — спросила Марина, заметив мой рюкзак.

Я замялся. Сказать правду — что меня зовёт падшая богиня на арктический остров — значит получить либо сочув-

ственный взгляд, либо неловкую тишину. А врать не хотелось.

— На север, — сказал я. — Хочу увидеть природу. Врач посоветовал сменить обстановку.

— Это правильно, — кивнул Алексей. — Лучшее лекарство от любой хандры — это новые места. Куда именно?

— Нарьян-Мар. Может, дальше.

— Ого, — Марина подняла брови. — Настоящий север. Мы туда ещё не добрались — всё откладывали. Говорят, тундра осенью — это что-то невероятное. Мхи краснеют, ягоды на кочках, небо низкое и огромное одновременно. А если повезёт — северное сияние.

— Да, — подтвердил Алексей. — Один наш коллега был в Нарьян-Маре зимой. Фоткал оленевые стада на фоне полярного неба. Говорит, это было самое сильное впечатление за десять лет работы.

Мы разговаривали весь путь до Москвы. Марина доставала из сумки припасы — бутерброды с сыром, яблоки, термос с травяным чаем — и угощала. Алексей показывал фотографии на телефоне: Байкал в ледяном панцире, алтайские перевалы, карельские скалы, сахалинские утёсы. Каждая фотография была живой — в ней был воздух, ветер, расстояние. Я смотрел и чувствовал, как внутри разжимается что-то стянутое, и мир становится чуть шире, чем серые бетонные коробки и заводская столовая.

— Знаете, что главное в путешествиях? — сказал Алек-

сей, когда за окном уже темнело и в стекле отражались наши лица. — Не красота. Красота — это следствие. Главное — это когда ты понимаешь, что мир больше, чем твоя привычная дорога от дома до работы. Что где-то есть люди, которые живут иначе, едят иначе, говорят на других языках — и это нормально. Это не угрожает, а расширяет. Каждый раз, когда мы возвращаемся из поездки, мы немножко другие. Не лучше — другие. И этого хватает, чтобы снова хотеть ехать.

Марина тихо кивнула и положила голову ему на плечо. За окном мелькали огни подмосковных станций — Назарьево, Подольск, Силикатная.

— Москва через сорок минут, — объявила по громкой связи проводница.

Я поблагодарил Алексея и Марину, мы обменялись контактами — Марина скинула мне ссылку на их журнал, чтобы «почитать про родные просторы, когда будет скучно». Я спрыгнул с верхней полки, снял рюкзак с багажной полки и почувствовал, что за эти несколько часов отдохнул — не телом, а душой. Разговор с людьми, для которых мир — не серая бетонная коробка, а бесконечная дорога, был *medicine*, как сказал бы Семёнов. Лекарством, только не из аптеки.

— Удачи на севере, Дмитрий, — сказал Алексей на прощание. — Если что — пишите, подскажем, что и как.

— И фото не забудьте, — улыбнулась Марина. — Мы всякие лайфхаки собираем, может и ваши добавим.

— Обязательно, — кивнул я, хотя не был уверен, что у

меня будет повод им писать. Но тёплое чувство от их слов осталось.

Москва встретила дождём. Небо было низким и серым, без единого просвета, дождь шёл ровно и монотонно, как будто город поливали из гигантского шланга на самую малую мощность — не ливень, а водяная пыль, которая оседала на всём и делала мир расплывчатым, будто сквозь мокрое стекло. Ленинградский вокзал был переполнен — люди текли потоками, толкались, кто-то бежал, кто-то стоял в очередях, и весь этот гул голосов, объявлений и шарканья ног сливался в единый, плотный, почти осязаемый шум.

До отправления поезда на Нарьян-Мар оставалось полчаса. Я вышел на перрон, постоял под навесом, наблюдая, как капли выбивают крошечные кратеры в лужах, и почувствовал голод — тупой, ровный, не острый, а привычный, как ноющая старая рана. Я нашёл пункт общепита — невзрачное заведение с пластиковыми столами и запахом варёной картошки, — встал в короткую очередь и взял салат из огурцов и томатов с растительным маслом, бутерброд с маслом на сером хлебе и чашку зелёного чая. Расплатился, сел за угловой столик у окна, за которым лил тот же бесконечный, безликий дождь.

Салат был простым и свежим — помидоры мягкие, сладковатые, огурцы хрустящие, масло тёмное, с лёгкой горчинкой. Бутерброд — тонкий ломоть хлеба со сливочным мас-

лом, которое тут же начало таять, пропитывая хлеб мягкостью. Зелёный чай — горячий, чуть терпкий, с травянистой нотой, которая согревала горло. Я ел медленно, глядя в окно, и думал о том, что через несколько часов всё это — вокзал, дождь, суета — останется позади. А впереди будет север, к которому я еду не по своей воле, но и не против неё.

Часы на стене показывали 18:25. До отправления — пятнадцать минут. Я допил чай, убрал посуду на поднос, забрал рюкзак и направился к платформе.

Поезд на Нарьян-Мар был не «Сокол» — не скоростной, не белый и не блестящий. Это был обычный пассажирский состав, потёртый, с зелёными вагонами и окнами, за которыми горел тусклый свет. Я нашёл свой вагон, предъявил билет проводнику — молчаливому мужику с усами и руками, привыкшими к тяжести, — и вошёл.

Плацкарт. Моё место — нижнее, у окна. Рюкзак закинул наверх, сам сел и осмотрелся. В отсеке было тихо. На верхней полке напротив, свернувшись калачиком под тонким одеялом, спал мужик в вахтовой куртке — кряжистый, с обветренным лицом и руками, покрытыми татуировками. Он дышал ровно и глубоко, и разбудить его, видимо, мог только конец света. Две другие полки были пусты. Попутчиков, которые хотели бы поговорить, на этот раз не нашлось. И я этому был рад.

Я снял ботинки, забрался на свою полку, подтянул одеяло к подбородку и закрыл глаза. Поезд дрогнул, качнулся, и

медленно, с натугой, потащился прочь от перрона. За окном мелькали огни Москвы — тусклые, размытые дождём, — а потом их стало меньше, и потянулись пригороды, и сады, и поля, и леса.

Увядаящая природа за окном была красива той тихой, печальной красотой, которая бывает только осенью. Кроны деревьев желтели и рдели — клёны горели багрянцем, берёзы светились золотом, а дубы стояли тёмные, тяжёлые, будто не хотели уступать лету. Пасмурное небо лежало низко, придавая пейзажу приглушённый, серебристый тон, как на старых фотографиях. Дождь не прекращался — он стекал по стеклу, размывая мир, и казалось, что поезд плывёт сквозь акварель.

Я смотрел в окно, пока не начали слипаться глаза. Последнее, что я увидел перед тем, как уснуть, — одинокая берёза на краю поля, её жёлтые листья дрожали на ветру, и несколько из них сорвались и медленно, кружась, полетели вниз. И в этот момент метка на запястье чуть потеплела — не горячо, не жгло, а как тёплое дыхание, как ладонь, которую кто-то осторожно приложил к коже и держит. Я не открыл глаз. Просто отметил это и провалился в сон.

Сон был спокойным. Ни поляны, ни снега, ни голоса. Тьма — мягкая, тёплая, как одеяло, укутывающее со всех сторон. Я отдыхал, и тело отдыхало, и поезд убаюкивающе покачивало на стыках, и где-то на краю сознания мерцало тёплое пятно — метка, которая грелась чуть сильнее, чем обычно. Словно компас, стрелка которого медленно поворачивалась

к северу. К острову. К ключу. К обещанию.

— Молодой человек, просыпайтесь. Через десять минут Нарьян-Мар.

Голос проводницы — ровный, чуть хрипловатый, привычный — вытянул меня из тёмного сна, как удочку из воды. Я открыл глаза, сел, моргнул. За окном было светло — не петербургское серое, а резкое, ясное, почти белое небо северного утра.

Вахтовик на верхней полке уже не спал — его место было пустое, одеяло сложено. Я потянулся, сунул ноги в ботинки и достал из рюкзака припасённый бутерброд и термос с чаем, который заварил ещё в Москве. Бутерброд был простой — хлеб с сыром и колбасой, — но вкусный, потому что голод. Чай уже остыл, но тёплый, чуть горьковатый, он сделал своё дело — тело проснулось, и голова прояснилась.

Я переоделся в термобельё, натянул флисовую кофту, сверху накинул, не застёгивая зимнюю куртку. Шапку — ту самую, маминым подарком, которую ни разу не надевал, — водрузил на голову и посмотрел в зеркало в тамбуре. На меня смотрел человек, собирающийся в путь по чужому для него северу. Рюкзак за спиной, куртка на молнии, шапка на бровях. Не турист, не путешественник — просто парень, который едет туда, куда его зовёт голос. Я криво усмехнулся своему отражению и поправил шапку.

Поезд замедлился. За окном поплыли одноэтажные дома,

столбы, заборы, а потом — длинная платформа, и здание вокзала, невысокое, с пристроенной верандой и вывеской, на которой было написано: «Нарьян-Мар».

Дверь тамбура открылась, и в вагон ворвался воздух — резкий, чистый, холодный, пахнувший морем, мхом и чем-то ещё, чему нет названия, — запахом севера, запахом того самого мира, до которого я добирался два поезда и сутки дороги. Температура на экране телефона показывала +10.

Я вышел на перрон, и солнце ударило в глаза — низкое, яркое, неотрывно висящее над горизонтом. Небо было чистым, без единого облака, и ветра не было совсем. Вокруг меня звучало многоголосье. Люди высыпали из вагонов — кто с сумками, кто с детьми, кто с коробками, обмотанными скотчем. Встречающие стояли на перроне, махали руками, обнимались, тянули багаж. Кто-то смеялся, кто-то говорил по телефону, кто-то просто стоял и ждал. Жизнь шла — обычная, северная, суетливая в момент прибытия поезда и замедленная во всём остальном.

Я постоял, вдохнул этот странный, холодный, чистый воздух, и впервые за несколько дней почувствовал, что метка на запястье не просто греет — она тихо, едва ощутимо пульсирует. Как сердце. Как второе сердце, маленькое, спрятанное под кожей, которое проснулось, потому что мы почти на месте.

Почти. Но не совсем.

Глава десятая. Остров

Здание вокзала выпустило меня в яркий, холодный день. Солнце стояло низко, почти на линии горизонта, и заливало улицу ровным, янтарным светом, от которого тени ложились длинными, вытянутыми полосами. Воздух был прозрачным, как стекло, и пах рекой, мхом и чем-то металлическим — то ли от ржавых крыш, то ли от воды, которая здесь, видимо, имела свой характер.

Автобусная станция располагалась через дорогу от вокзала — небольшая площадка с тремя бетонными навесами и электронным табло, на котором мигали номера маршрутов. Я подошёл, сверился с расписанием и нашёл нужный: маршрут номер четыре, «Порт — Рыболовный причал». Отправление через пять минут.

Автобус подкатил тихо, почти бесшумно — электрический, с низким полом и широкими дверями. Я поднялся внутрь. Полупустой салон встретил меня тишиной и запахом мокрой ткани. Три пассажира: пожилая nenка в тёмном платке, с морщинистым лицом, высеченным ветрами, сидела у окна, прижимая к груди клетчатый мешок; молодой парень в оранжевом жилете поверх рабочей куртки дремал на заднем сиденье, откинув голову; и женщина средних лет с сумкой-холодильником, из которой торчал краем пакет с рыбой, устроилась посередине и молча смотрела перед собой.

Я сел у окна. Автобус тронулся, и за стеклом поплыл Нарьян-Мар — невысокий, приземистый город, где деревянные дома с резными наличниками соседствовали с бетонными панельками, а между ними тянулись широкие, пустые улицы с редкими пешеходами. Редкие машины, велосипедисты, собака, спящая на обочине, — всё это было не похоже ни на Питер, ни на Москву. Здесь жизнь текла медленнее, как река в равнине, и люди не спешили, потому что спешить было некуда — всё близко, всё известно, всё повторяется.

Через десять минут автобус остановился у кромки воды. Я вышел и оказался на пристани — деревянный настил, пропитанный солью и рыбьим жиром, тянулся вдоль берега, к которому были пришвартованы суда. Их было с десятков, может больше — старые, потрёпанные временем и штормами траулеры, с облупившейся краской на бортах, ржавыми якорными цепями и снастями, убранными в коконы из брезента. Пахло дизелем, водорослями и рыбой — не свежей, а той, въевшейся, застарелой, которая стала частью этого места, как соль стала частью дерева на пристани.

Я шёл медленно, заглядывая на каждое судно, читая названия на бортах — «Северянин», «Надежда», «Грумант», «Заполярье» — и пытаюсь угадать, какое из них могло бы идти к Колгуеву. Некоторые суда выглядели заброшенными: на палубе сохло бельё, на трапах ржавели бочки, а из-за бортов доносился треск работающего генератора. На других кипела жизнь — матросы таскали ящики, переговаривались, кури-

ли, перебрасываясь короткими, рублеными фразами, которые ветер относил в сторону моря.

Я подошёл к траулеру с названием «Варзуга» — крепкому, короткому судну с глубоким водоизмещением и рубкой, нависающей над палубой. На борту, у леерного ограждения, стоял мужчина лет шестидесяти — седой, с обветренным красно-коричневым лицом и руками, похожими на два потёртых кожаных перчатки. Он курил трубку и смотрел на воду так, как смотрят на старого знакомого, которого знаешь давно и давно перестал от него ждать сюрпризов.

— Здравствуйте, — я подошёл к борту и поднял взгляд.
— Ищу судно, которое идёт на Колгуев.

Мужчина медленно вытащил трубку изо рта, окинул меня взглядом — с ног до головы, с рюкзаком, в зимней куртке и шапке, которая явно выглядела неуместно при плюс десяти, — и сплюнул за борт.

— Колгуев, значит, — он произнёс это слово так, будто пробовал его на вкус. — Зачем тебе туда, парень? Туристов там отродясь не было.

— Не турист, — сказал я. — Нужно по делу. Личному.

Капитан — а это, видимо, был он — хмыкнул и снова затянулся трубкой. Потом кивнул в сторону соседнего судна — невысокого, широкого грузового катера с плоской палубой, на которую были аккуратно уложены ящики и контейнеры, укрытые брезентом.

— Вот «Поморец». Капитан — Степаныч. Через час идёт

на Колгуев, провизию возит раз в две недели. Там народ живёт постоянный — ненцы, рыбаки, работники порта. И ячейки топливные везёт для станции. Если повезёт, возьмёт.

— Спасибо, — я кивнул и направился к «Поморцу».

Степаныч оказался мужиком крепким, лет пятидесяти пяти, с короткой седой бородой, маленькими цепкими глазами и манерой говорить коротко и точно, как человек, которому некогда растекаться мыслью по древу. Я нашёл его на палубе, где он руководил погрузкой последних ящиков — двое матросов таскали их по трапу, а он стоял, нога на леере, и считал, загибая пальцы.

— Степаныч? — окликнул я с причала.

Он повернул голову, посмотрел на меня тем же оценивающим взглядом, что и капитан «Варзуги», и не сказал ничего. Просто ждал.

— Мне нужно на Колгуев. Могу заплатить — не деньгами, так натурой. Взял бы?

— Зачем тебе? — его голос был низкий, с хрипотцой.

— По личному делу. Врач посоветовал сменить обстановку, — я решил не отклоняться от легенды, которая уже работала.

Степаныч помолчал, потербил бороду и сказал:

— Каюта занята. Провизией забита под завязку. Если не боишься на палубе сидеть — устраивайся. Через час отчаливаем. Только в ларьке там, — он ткнул пальцем в сторону дальнего конца пристани, где стояла покосившаяся будка с

жестяной крышей, — возьми пару бутылок чего покрепче. Не мне — команде. У них сухой закон на борту, а я не зверь.

Я кивнул, развернулся и зашагал к ларьку. Тот оказался крошечным — прилавок за стеклом, за которым сидела женщина в ватнике и вязала, не поднимая глаз. Я выбрал две бутылки водки — какие были, без затей, в простых стеклянных бутылках с этикетками, на которых был изображён олень на фоне тундры, — расплатился наличными, которые специально разменял ещё в Москве, и вернулся к причалу.

Степаныч принял бутылки, сунул их под брезент, кивнул: — Добро. Свой спальник есть?

— Есть.

— Тогда вот, — он указал на участок палубы у рубки, прикрытый от ветра контейнером. — Устраивайся там. Отчаливаем через сорок минут.

Я забросил рюкзак на палубу, перелез через леер и устроился в указанном месте. Расстелил спальник, сел, прислонившись спиной к тёплому металлу контейнера, и стал ждать. Матросы закончили погрузку, трап убрали, леерные крепления затянули. Двигатель «Поморца» загудел — глухо, низко, как будто прочистил горло перед долгим разговором, — и судно медленно, с лёгкой натугой, отошло от причала.

Пристань поплыла назад. Нарьян-Мар с его домами, антеннами и церковным куполом, поблёскивающим на солнце, уменьшался, растворялся в дымке горизонта, пока не стал полоской, а потом — точкой. И тогда открылось море.

Баренцево море. Оно было спокойным — не штиль, но и не шторм, а ровное, мерное волнение, от которого судно плавно поднималось и опускалось, как колыбель. Вода была тёмно-серой, почти чёрной у горизонта и зеленоватой ближе к борту, с белыми гребешками на гребнях волн, которые тут же опадали и исчезали. Небо висело низко, но не давило — оно было светло-серым, ровным, как простыня, и в нём не было ни облаков, ни просветов, только однородная, спокойная серость, которая не напрягала, а убаюкивала.

Ветер дул в лицо — ровный, солоноватый, с привкусом йода и чего-то холодного, чего нет на суше. Не сильный, но настойчивый, как дыхание живого существа, которое лежит под водой и медленно, размеренно выдыхает. Я сидел на палубе, шурился от ветра и смотрел на воду, которая уходила во все стороны, без конца, без края, без берега.

Море было бескрайним. Это не метафора — это факт, который ощущается телом, когда ты на небольшом судне посреди Баренцева моря, и вокруг тебя — только вода и небо, и нет ничего, что разделяло бы их, кроме тонкой, едва различимой линии горизонта. Город остался позади, земля осталась позади, и весь привычный мир — завод, капсулы, серые дома, талонная столовая, соседская ругань за стеной — всё это осталось там, на берегу, к которому я больше не был привязан. Здесь, на воде, существовали только ветер, соль и мерный гул двигателя, который был единственным звуком, нарушающим тишину.

Метка на запястье грелась. Не сильно, не жгла, но тепла было больше, чем в поезде, — ровное, мягкое тепло, как от нагретого камня, который лежит на коже и отдаёт своё тепло медленно, уверенно, без спешки. Я засучил рукав и посмотрел на крест. Он не изменился — те же четыре равных луча, каждый с малым крестом на конце, — но контур его стал чётче, словно кто-то провёл по нему тонкой линией, уточняя рисунок.

Я опустил рукав и закрыл глаза. Судно качалось, двигатель гудел, ветер дул. Время перестало существовать, и я не знал, сколько прошло — час, два, три — когда матрос окликнул меня:

— Эй, земля!

Я открыл глаза и поднялся. На горизонте, прямо по курсу, проступала тёмная полоса. Сначала она была неразличима — просто тень, просто тёмное пятно на стыке воды и неба. Но судно шло вперёд, и полоса росла, поднималась, обретала форму.

Остров Колгуев.

Он выглядел неприветливо. Серый, низкий берег, на котором не было ничего, кроме камней, мха и редких пятен снега, лежавшего в складках рельефа. Ни деревьев, ни кустарников — только ровная, плоская тундра, уходящая к горизонту, покрытая рыжей и серой растительностью, похожей на старую шерсть. Небо над островом было того же цвета, что и тундра, — серое, низкое, сливавшееся с землёй так,

что граница между ними стиралась.

По мере приближения стали различимы детали. Поселение — несколько десятков домов, сбившихся в кучу в хаотичном порядке, словно кто-то рассыпал кости на столе. Низкие, одноэтажные, деревянные, с плоскими крышами, потемневшими от ветра и времени. Между ними — столбы с проводами, пара фонарей, антенна на крыше одного из домов. Чуть в стороне — длинное приземистое здание порта с пристанью, к которой были пришвартованы два рыболовных катера, и за ними — цех, из трубы которого шёл ровный столб белого дыма.

Всё. Ни зелени, ни уюта, ни красоты — только суровая, голая функциональность, как у военного бивуака, который разбили на время и забыли свернуть. Остров не был враждебным — он был безразличным. Ему не было дела, кто приплыл и зачем. Он просто существовал, как существовали его камни, его мхи, его ветер и его короткое, холодное лето.

Судно вошло в порт. Причал встретил нас деревянным настилом, брёвнами, обросшими ракушками, и запахом рыбы — свежей, резкой, бьющей в нос, как удар. Матросы начали выгружать ящики, Степаныч стоял у борта, отдавая короткие команды, а я собрал рюкзак, поблагодарил капитана и сошёл на берег.

Было полдень. Солнце стояло низко, почти над горизонтом, и заливало остров ровным, холодным светом, от которого все предметы казались чётче, чем есть — каждый ка-

мень, каждый столб, каждая щель в стене домов была видна так ясно, будто нарисована тушью. Тени были длинными, синими, и лежали на земле, как сброшенные с плеч одежды. Ветер усилился — не сильный, но холодный, с привкусом снега, которого ещё не было, но который уже чувствовался в воздухе, как обещание.

Я стоял на причале и осматривался. Поселение было небольшим — от одного края до другого метров пятьсот, не больше. Дома стояли безо всякого порядка, между ними тянулись грунтовые дорожки, утоптаные и заросшие жёсткой травой. У одного из домов был прибит щит с надписью, которую я не мог разобрать отсюда. Чуть дальше, за домами, виднелась вышка сотовой связи и мачта, на которой развевался флаг Федерации — маленький, поблёкший, трепыхающийся на ветру.

Жизнь была, но тихая. У одного из домов женщина в ватнике развешивала бельё на верёвке. Собака, привязанная к столбу, лениво подняла голову, посмотрела на меня и опустила обратно. Двое детей бежали по дорожке, крича что-то друг другу на незнакомом языке — не русском, наверное, ненецком. Где-то стучал молоток — мерно, размеренно, как маятник.

Мне нужны были две вещи: поесть и найти проводника. Поесть — потому что бутерброды и чай из поезда давно закончились, и желудок напоминал о себе тупой, но настойчивой пустотой. Проводник — потому что я не знал этого ост-

рова, не знал, куда идти, и что искать. Голос во сне сказал «там ты сам всё поймёшь», но «сам» в незнакомой тундре, без карты и без знания местности, могло закончиться плохо.

Я поправил рюкзак и зашагал в сторону поселения, к щиту с надписью, который заметил с причала. По мере приближения буквы проступили: «Магазин. Часы работы 9:00–18:00. Перерыв 13:00–14:00». Стрелка под надписью указывала вглубь поселения.

Я пошёл по стрелке.

Глава одиннадцатая. Выбор

Магазин оказался маленьким — один этаж, бревенчатые стены, крыша из рубероида, потрескавшегося и выцветшего. Дверь была деревянной, тяжёлой, с пружиной, которая громко стонала, когда я её открывал. Внутри — узкий проход между стеллажами, тусклый свет лампы под потолком, запах сухого хлеба, рыбы и чего-то консервированного, что хранится годами.

За прилавком сидела женщина лет шестидесяти — худая, с жилистыми руками и лицом, на котором морщины лежали так глубоко, будто кто-то провёл по ним резцом. Она посмотрела на меня поверх очков, и в её взгляде было не любопытство, а скорее прикидка: новый человек — это клиент или проблема?

— Здравствуйте, — я кивнул. — Что у вас есть из горячего?

— Горячей еды нет, — ответила она ровно. — Чай есть. Бутерброды могу сделать. Рыбные, из трески, вчерашней. И хлеб с маслом.

— Давайте и то и другое. И чай покрепче, если можно.

Она молча кивнула, сняла с полки банку с заваркой, достала из-под прилавка хлеб — ржаной, тёмный, с плотной коркой — и начала резать. Движения её были точными, экономными, как у человека, который не тратит ни одного лиш-

него жеста. Треска лежала в эмалированной миске под плёнкой — белая, плотная, слабо пахнувшая морем. Она положила два ломтя рыбы на хлеб, накрыла вторым, срезала горбушку — и протянула мне через прилавок. Чай налила из старого, потемневшего чайника, который стоял на плите в углу.

— Сто двадцать рублей, — сказала она.

Я расплатился — наличными, которые ещё оставались. Она убрала деньги в жестяную коробку под прилавком и вернулась к своему занятию — что-то вязала из тёмной шерсти, быстро, не глядя, спицы стучали тихо и ровно.

Я ел, стоя барного столика у окна. Бутерброды были простые и вкусные — хлеб плотный, чуть кисловатый, треска — солоноватая, но свежая, не пересушенная. Чай был крепкий, почти чёрный, и от него шёл пар, который согревал лицо. Я ел медленно и смотрел по сторонам.

Магазин был невелик, но в нём было всё, что нужно для жизни на острове: консервы, крупы, макароны, мука, сахар, соль, свечи, батарейки, спички, мыло, бритвы, бинты. На стене висела карта острова — потёртая, с загнутыми углами, заляпанная чем-то, что могло быть чаем или рыбьим жиром. Я подошёл к ней, прищурившись.

Остров был овальным, вытянутым с запада на восток. Поселение, где я находился, было на восточном берегу, ближе к северу. Западный берег был пуст — ни домов, ни поместок, только ровная тундра, которая тянулась до воды. В центре острова — пара речушек, тонкие синие линии, и где-то

к юго-западу — маленький значок, похожий на крест. Я наклонился ближе.

«Священное место. Охранная зона», — было написано мелко, от руки, поверх типографской печати.

Сердце стукнуло. Я отошёл от карты, допил чай и обратился к продавщице:

— Извините, а на карте тут отмечено — «священное место», к юго-западу от посёлка. Что это?

Женщина перестала вязать. Спицы замерли. Она подняла на меня взгляд — не нахмуренный, не подозрительный, а другой. Взвешивающий. Как будто я задал вопрос, ответ на который она давала нечасто и не каждому.

— Это место старое, — сказала она негромко. — Ещё до нас тут было. Ненцы туда не ходят. Говорят, там живут души тех, кто умер до срока. Мы туда не лезем. Зачем тебе?

— Хочу посмотреть. Врач сказал гулять на природе, — я снова использовал свою легенду, и она снова звучала неубедительно.

— На природе, — она хмыкнула, но без насмешки. — Природа тут такая, что без проводника шагу не ступишь. Тундра обманчива. Ровная, плоская, кажется — иди куда хочешь. А через час не понимаешь, где ты. Возвращаешься к тому же месту, откуда ушёл. Или к тому месту, где уже был. Она ходит кругами, тундра-то.

— Проводника можно найти?

— Можно, — она снова начала вязать. — Есть тут один,

Егор Птицын. Ненец, но по-русски говорит. Оленей пасёт, но сейчас не сезон — стада южнее, на материке. Скучает, наверное. Живёт на краю, последний дом на западной стороне. Серый такой, с синей дверью. Скажите, что Марфа послала.

— Спасибо, Марфа, — я поблагодарил её и направился к выходу.

— Молодой человек, — окликнула она меня, когда я уже взялся за дверь. Я обернулся. — Не ночуйте там. У этих мест характер скверный. Днём смотрите, а к вечеру — возвращайтесь.

— Понял, — кивнул я и вышел.

Солнце стояло всё так же низко, но прошло, наверное, часа два, и свет стал гуще, желтее, будто кто-то добавил в него мёда. Тени удлинились, и остров, который утром казался безразличным, теперь выглядел — нет, не враждебным, а настороженным. Как зверь, который лежит спокойно, но приоткрыл один глаз.

Я шёл к западной окраине посёлка. Дома здесь были реже, дальше друг от друга, и между ними проступала тундра — рыжая, серая, плоская, покрытая жёсткой травой и мхом, который под ногами пружинил, как губка. Воздух пах холодом и сырой землёй — не гнилью, а именно холодом, как пахнет подвал, в котором хранят овощи.

Последний дом и впрямь был серым, с синей дверью. Невысокий, бревенчатый, с крыльцом из двух ступеней и окном, на подоконнике которого стояла пустая консервная бан-

ка с одним чахлым цветком — каким-то мелким, жёлтым, упрямым.

Я постучал. Дверь открылась не сразу — сначала за ней была слышна только тишина, потом скрип половиц, а затем шаги, что становились всё громче. Дверь распахнулась и на порог вышел мужчина лет сорока пяти — невысокий, жилистый, с узким лицом и глазами, которые были не тёмными, а почти чёрными, как два угля, которые догорают. Кожа — коричневая от ветра и солнца, руки — сухие, жилистые, с длинными пальцами. Одет в тёмную телогрейку поверх свитера и резиновые сапоги, на шее — бечёвка с медным кружком, который тускло поблёскивал.

— Марфа послала, — сказал я.

Он смотрел на меня молча, не мигая. Потом кивнул — коротко, без слов — и отступил в сторону, впуская меня внутрь.

Дом был простым и тёмным. Одна комната, печь в углу, стол, две скамьи, на стенах — олени шкуры, старые фотографии в рамках и карта острова — такая же, как в магазине, только крупнее и без типографской печати, нарисованная от руки, с подписями на двух языках: русском и ненецком. На столе — недоеденная миска с кашей и кружка с остывшим чаем. Пахло дымом, рыбой и чем-то сладковатым — может, ягелем.

Егор сел на скамью и указал мне на другую. Я сел, положив рюкзак у ног.

— Тебе на священное место, — сказал он. Не спросил — сказал. Я моргнул.

— Откуда вы знаете?

— Поселение у нас маленькое, о новых людях быстро всё становится известно. Да и нормальные люди туда не ходят, — он сказал это без осуждения, без насмешки, как факт. — А ты пришёл на остров, который не значится ни в одном туристическом маршруте, спрашиваешь про священное место и говоришь, что врач послал. Врачи не посылают на Колгуев. Врачи посылают в Карелию.

Я не нашёлся что ответить. Он смотрел на меня своими угольными глазами и ждал. Терпеливо, как человек, привыкший ждать — часами, днями, неделями, в тундре, где время идёт не по часам, а по ветру.

— Хорошо, — я решил быть честным. Хотя бы частично. — Мне нужно туда. Не могу объяснить почему. Просто нужно.

Егор помолчал. Потом встал, подошёл к стене, где висела карта, и ткнул пальцем в точку к юго-западу от посёлка.

— Идти четыре часа, если ровно. Тундра ровная, но обманчивая. Есть два ручья, их нужно перейти. Потом — камень, большой, один. От него — на запад, по прямой, час. Там будет холм, низкий, почти не видный. Под холмом — то место.

— А что там?

— Не знаю, — ответил он просто. — Я не был. Ненцы не

ходят туда. Мой дед рассказывал, что там было капище. Старое, до христианства. Там женщины оставляли подношения — хлеб, рыбу, кости. Молящие — о чём? О жизни. О смерти. О детях, которые не родились. О тех, кто ушёл раньше срока. Он говорил, что место живое. Не в смысле, что шевелится, а в смысле — отвечает. Если приходишь с чем-то, оно даёт что-то взамен. Или забирает.

Я невольно потёр запястье. Егор заметил этот жест — я увидел, как его глаза скользнули к моей руке и вернулись к лицу. Он ничего не сказал.

— Пойдёте со мной? — спросил я.

— Нет, — он покачал головой. — Но провожу до большого камня. Дальше ты сам. Вернёшься — приходи, чай попьем. Не вернёшься — ну, значит, не вернёшься.

Это прозвучало не зловеще, а буднично. Как если бы он сказал: «Не вернёшься — значит, пошёл другим путём». На острове, где тундра и море, отсутствие человека — не событие, а данность.

— Когда выходим? — спросил я.

— Через час. Мне надо запрячь нарты — не для езды, для воды и еды. И собак взять, они чуют путь, когда глаза не видят.

Он встал, надел сшитую из оленьей шкуры шапку и вышел. Я остался один в тёмной комнате, глядя на карту. Метка на запястье пульсировала — ровно, глубоко, как второе сердце. Тепло шло от неё волной, поднималось к локтю, к

плечу, и останавливалось где-то в груди, смешиваясь с тупой ноющей болью синяка, который всё ещё не прошёл.

Я встал, подошёл к карте и нашёл точку — «священное место». На ручной карте Егора она была обозначена иначе: не крестом, а кругом, внутри которого была нарисована фигура — женская, с раскинутыми руками и чем-то похожим на корону на голове. Под рисунком — надпись на ненецком, которую я не мог прочитать.

Но фигуру я узнал. И не по рисунку, а по ощущению, которое прошло через тело, как ток — от запястья к груди, от груди к затылку. Я видел её раньше. Не в музее, не в книге — в виртуальном мире, в битве, где она стояла передо мной в облике Марены, Мрачной Госпожи, и говорила: «Найди меня. Освободи. Или станешь тенью».

Здесь, на карте, нарисованной от руки в тёмном доме на краю острова, она была изображена с короной. А в игре — без лица, под бесформенным балахоном. И тот, и другой образ были масками. Настоящая — та, что ждала меня под холмом, в месте, куда не ходили люди.

Я вернулся на скамью и стал ждать. Солнце за окном медленно катилось по горизонту, не поднимаясь и не опускаясь — на этой широте, в это время года, оно не садится, а ходит кругами, как часовая стрелка, и ночь не наступает, а лишь густеет свет. Я смотрел в окно и думал о том, что Марфа сказала: «Не ночуйте там». А Егор сказал: «Вернёшься — чай попьём».

Через час дверь скрипнула. Егор стоял на пороге, за его спиной — нарты, гружённые бурдюком с водой и мешком, и две собаки — крупные, серые, с жёлтыми глазами, которые смотрели на меня с тем же спокойным, взвешивающим выражением, что и их хозяин.

— Идём, — сказал Егор.

Я закинул рюкзак на плечо, поправил шапку и вышел в свет, который не собирался гаснуть.

Тундра началась сразу, как только мы прошли последний дом. Не было ни границы, ни перехода — просто бетонная дорожка оборвалась, и под ногами оказался мох, и больше не было ничего, кроме мха, и неба, и ветра.

Егор шёл впереди, не оглядываясь. Двигался он странным образом — не быстро и не медленно, но так, что я, с моими длинными ногами и городскими ботинками, едва поспевал. Он ставил ноги не на кочки, а между ними, находя твёрдую землю интуитивно, как будто читал рельеф подошвами. Собаки бежали по бокам, иногда забегая вперёд, иногда отставая, и ни разу не сбились с ритма.

Тундра была плоской — это я уже знал из описаний, но знать и видеть — разные вещи. Ровная, как стол, уходила она во все стороны, и на ней не было ни дерева, ни куста, ни холма — только мох, ягель, редкие пятна камней и протоки талой воды, которые блестели в низинах, как разбитые зеркала. Небо висело над всем этим куполом — низким, серым, но не давящим, а скорее обнимающим, как потолок комна-

ты, в которой тебе уютно.

Ветер был постоянным. Не сильным — таким, который не сбивает с ног, а забирается под одежду, под воротник, в рукава, и тянет тепло из тела медленно и неуклонно. Я натянул капюшон, застегнул куртку и шёл, опустив голову, глядя на ноги Егора, которые двигались впереди, и на след, который они оставляли во мху — неглубокий, но отчётливый.

Первый час шёл молча. Егор не разговаривал, и я тоже не начинал — не из неловкости, а из чувства, что в этом месте слова неуместны, как громкая музыка в библиотеке. Тундра требовала тишины, и тишина здесь была не пустотой, а чем-то плотным, почти осязаемым — как воздух, который стал видимым.

Мой рюкзак оттягивал плечи. Термобельё, которое я надел в Нарьян-Маре, казалось избыточным при десяти градусах, но с каждым часом ветер забирал всё больше тепла, и я был рад, что не пожалел места в рюкзаке для флиса и шапки. Под ногами мох пружинил, но местами попадались камни — плоские, скользкие, покрытые инеем или влагой, и на них мои ботинки скользили, и я пару раз споткнулся, едва не упав. Егор ни разу не обернулся.

Метка пульсировала. Равномерно, спокойно, как маятник, и с каждым шагом тепло усиливалось — не болезненно, а уверенно, будто кто-то вливал в меня горячий чай через кожу. Крест на запястье чётче проступал, и я старался не смотреть на него, потому что каждый раз, когда смотрел,

внутри что-то сжималось — не от страха, а от предчувствия, которое не имело названия.

После первого часа Егор остановился. Не сказал — просто остановился, и я тоже остановился, и собаки сели, тяжело дыша.

— Вода, — сказал он и протянул мне бурдюк. Я глотнул — вода была холодной, с привкусом кожи и чем-то травяным, может, чабрецом. Потом он достал из мешка сушёную рыбу — тонкие, твёрдые полоски, которые пахли дымом и морем. Отломил кусок мне, кусок себе. Мы жевали молча, стоя посреди тундры, и вокруг нас не было ничего, кроме мха, неба и ветра.

— Далеко ещё? — спросил я.

— Нет, — ответил Егор. — Ручьи впереди. Два. Потом камень. Потом — ты сам.

Он посмотрел на меня — своими угольными глазами, и я в первый раз увидел в них что-то, кроме спокойствия. Не страх. Не жалость. Сочувствие — тихое, осторожное, как рука, которую кладут на плечо, не сжимая.

— Ты знаешь, что там, — сказал я. Не спросил — сказал.

— Я знаю, что там было, — ответил он. — Что есть — не знаю. Мой дед говорил: место меняется в зависимости от того, кто приходит. Для одних — пустота. Для других — зеркало. Для третьих — дверь.

— А для меня?

Он не ответил. Просто поднялся, свистнул собакам и по-

шёл дальше. Я допил воду, закинул рюкзак и пошёл следом. Ручьи были мелкими, быстрыми, с прозрачной водой, которая бежала по камням и пела — тонко, на одной ноте, как стекло, которое звенит на ветру. Первый я перешёл по камням, промочив правую ногу — ботинки держали, но не идеально. Второй был шире, и Егор перешёл его по бревну, брошенному поперёк — тонкому, скользкому, мокрому. Я пошёл за ним, балансируя, и на середине бревна прогнулось, и я почувствовал, как оно ходит подо мной, живое, упругое, и на миг мне показалось, что тундра поднимается, чтобы меня встретить.

Я не упал. Перешёл, встал на твёрдую землю, и метка вспыхнула — коротко, ярко, как вспышка молнии под кожей, и тут же погасла, оставив после себя волну тепла, которая прошла от запястья к груди и обратно. Егор не видел этого — он шёл впереди. Но собаки — обе — остановились и повернули головы, глядя на мою руку. Жёлтые глаза сузились. Одна из них тихо зарычала — не зло, а предупреждающе.

— Идём, — сказал Егор, не оборачиваясь. Собаки двинулись.

Ещё час. Мох сменился камнем — сначала редкие валуны, потом всё больше, пока тундра не стала похожа на кладбище великанов, которые оставили после себя гладкие, продутые ветром валуны, лежащие на боку, как спящие тела. Между ними — проходы, узкие, извилистые, и ветер в них

усиливался, бросая в лицо пригоршни колючего воздуха.

И вот он — камень.

Егор остановился и показал рукой. Впереди, метрах в тридцати, стоял один-единственный валун — крупнее остальных, тёмный, почти чёрный, с плоской вершиной, на которой не было ни мха, ни снега — голый камень, обтёсанный ветром до блеска. Он стоял один, посреди ровной площадки, и вокруг него — ни одного другого камня. Только мох, и небо, и тишина, которая стала абсолютной — даже ветер, казалось, притих.

— Вот, — сказал Егор. — Дальше я не иду.

— Почему?

— Потому что мой народ сюда не ходит. Я и так сделал больше, чем должен был. — Он смотрел на меня, и в его глазах было то же сочувствие, что и раньше, только теперь в нём проступила тревога — тонкая, как трещина в стекле. — Большой камень — это граница. За ней — земля, которая не наша. Ты иди на запад, по прямой. Час. Холм увидишь. Он низкий, но ты поймёшь.

— Как пойму?

— Поймёшь, — повторил он и отвернулся. Потом обернулся в последний раз: — Если к утру не вернёшься, я приду искать. Но не дальше камня. Если и за камнем не будет — значит, место тебя приняло.

Он сказал это и пошёл обратно. Собаки за ним. Я стоял один, у большого камня, и смотрел на запад, где тундра ухо-

дила к горизонту, ровная, бесконечная, и где-то там, под низким серым небом, был холм, которого я ещё не видел.

Я стоял один, на краю земли, которая не была ничьей, и метка на запястье горела — ровно, сильно, ярче, чем когда-либо, — и я не знал, что ждёт меня за границей, которую провёл для меня человек, чей народ жил здесь сотни лет и знал, где можно ходить, а где нельзя.

Я шагнул.

Я шёл на запад, по прямой, как сказал Егор. Мох под ногами сменился твёрдой, утопанной ветром землёй, и идти стало легче — не нужно было выбирать, куда ступить, не нужно было объезжать камни. Их больше не было. Тундра была ровной, гладкой, и только небо и ветер оставались неизменными.

Солнце катилось по горизонту, не садясь и не поднимаясь, и свет его стал гуще, янтарнее, и тени, которые он отбрасывал, были длинными и резкими, как от вытянутых пальцев. Время потеряло привычный ход — не было вечера, не было утра, только этот ровный, неменяющийся свет, в котором я шёл, и каждый шаг был как предыдущий, и каждый следующий был как этот.

Метка грела.

Сначала — как раньше: ровно, мягко, теплом нагретого камня. Но с каждым шагом тепло усиливалось. Не резко, не скачками, а плавно, как если бы кто-то медленно поворачивал рукоятку горелки — на одно деление, ещё на одно, ещё.

Крест на запястье, который раньше был едва различим, теперь горел под кожей так, что я видел его очертания даже не глядя — чувствовал, как его лучи проступают сквозь эпидермис, как каждый малый крест на конце луча пульсирует своим ритмом, и все четыре ритма сливались в один — глубокий, ровный, как удар большого барабана, который ты не слышишь ушами, а чувствуешь грудной клеткой.

Час. Может — чуть больше. Может — чуть меньше. Я не смотрел на телефон, потому что время здесь не имело значения. Важно было только направление — запад, по прямой — и тепло, которое вело меня, как нить, которую держат невидимые руки и потихоньку подтягивают к себе.

И вот он — холм.

Я увидел его не сразу. Он был низким, пологим, почти не выделяясь на фоне тундры — просто едва заметное поднятие, бугор, который с расстояния казался тенью от облака. Но по мере приближения он рос, обретал форму, и стало ясно: это не неровность рельефа, а нечто рукотворное, или по крайней мере — бывшее рукотворным когда-то.

Холм был круглым, метров тридцать в поперечнике, с плоской, поросшей мхом вершиной. Склоны — пологие, заросшие жёсткой травой и ягелем, и только кое-где из-под мха проступали камни — тёмные, гладкие, уложенные не природой, а руками, которые давно истлели.

На вершине — остатки капища.

Это было не слово, а ощущение. Я не знал, как выглядит

капище, не читал о них подробно, не видел в музеях — но, когда поднялся на вершину холма и остановился, глядя на то, что лежало передо мной, внутри что-то щёлкнуло, как замок, который открыли правильным ключом, и я понял: это оно.

Камни. Круг из камней — двенадцать, если я считал верно, — врытых в землю на равном расстоянии друг от друга. Большинство повалилось, заросло мхом, покрылось лишайником — серым, бурым, белёсым, и от круга остались лишь намёты, тени прежнего порядка. Но центр — центр был цел. В середине круга, на ровной, утоптанной площадке, лежала плита — плоская, тёмная, почти чёрная, с ровными краями, которую не могла создать природа. На её поверхности, вырезанный глубокими бороздами, был круг, а внутри круга — фигура. Женская. С раскинутыми руками. Та самая, что я видел на карте Егора.

Ветер стих. Не ослабел — именно стих, как будто кто-то выключил его, и наступила тишина, которая была не пустой, а наполненной, как тишина перед тем, как кто-то заговорит. Солнце висело над горизонтом, неподвижное, и его свет стал другим — не янтарным, а белым, холодным, и тени исчезли, и всё вокруг потеряло объём, стало плоским, как рисунок на бумаге.

Метка горела. Не грела — горела, и я чувствовал, как тепло перешло в жар, но не обжигающий, а такой, какой бывает от костра, к которому подошёл слишком близко: лицо пыла-

ет, а тело мёрзнет, и ты не можешь ни шагнуть вперёд, ни отступить.

Я обошёл плиту и увидел лаз.

У самого основания холма, с южной стороны, в земле зияла нора — узкая, тёмная, размером едва достаточная, чтобы протиснуться одному человеку на четвереньках. Земля вокруг неё была голой — ни мха, ни травы, ни ягеля, только чёрная, сыпучая почва, и от лаза тянуло холодом — не ветром, а именно холодом, густым и тяжёлым, как воздух из погреба.

Чувство, которое вело меня через тундру, теперь стало осязаемым. Не просто тепло и не просто тяга — а голос. Не ушами, не головой — грудью, рёбрами, позвоночником. Не слова, а направление, которое было яснее любого слова: «Сюда. Внутрь. Ко мне».

Я стоял над лазом, и часть меня — та, что была Дмитрием, тестировщиком с завода, парнем из серого бетонного дома в Питере, который ест шакшуку по утрам и ездит на плацкарте, — кричала: «Не лезь. Развернись. Иди к Егору, пей чай, садись на следующий корабль, возвращайся домой». Но другая часть — та, что проснулась в капсуле, когда крест проступил на запястье, та, что дралась с мечом в снежном сне, та, что подчинила Умертвие, — эта часть стояла спокойно и знала: другого пути нет. Был — но его больше нет. С того момента, как Марена поставила метку, путь назад стал иллюзией, и каждый шаг от завода до этого холма был шагом

в одном направлении.

Я снял рюкзак. Достал фонарик, зажигалку, нож — сложил в один карман куртки. Рюкзак оставил наверху, у плиты. Он мне не понадобится. Там, куда я иду, не нужны пауэрбанки и термобельё.

Я встал на колени у лаза, наклонился, осветил фонариком внутрь. Луч выхватил узкий земляной проход — сырой, тёмный, с корнями, свисающими с потолка, как мёртвые пальцы. Потолок был в полуметре от пола — едва хватало, чтобы ползти на четвереньках, прижимая голову к груди.

Холод шёл из лаза волнами — плотными, осязаемыми, как вода, которая поднимается в подвале при наводнении. Но метка горела ярче, чем когда-либо, и жар от неё уравнивал холод, и я чувствовал себя на границе двух стихий — впереди холод, за спиной тепло, и я — точка, в которой они встречаются.

Я выдохнул, опустил на локти и полез внутрь.

Проход был тесным. Стены — земля, сырая, скользкая, пахнущая глиной и чем-то старым, минеральным, как запах камня, который лежал в темноте тысячи лет. Потолок давил на плечи, и я двигался на четвереньках, медленно, осторожно, перенося вес с одного локтя на другой, и колени скользили по влажному полу, и фонарик, зажаты в зубах, давал узкий, дрожащий луч, который выхватывал только ближайшие сантиметры земли.

Прошёл, может, метров десять. Может — пятнадцать. Не больше. Но в этом тесном, сыром, тёмном пространстве каждый метр был как километр, потому что стены давили, потолок давил, и темнота, которая начиналась за краем луча, была не просто отсутствием света, а присутствием чего-то другого — тяжёлого, внимательного, наблюдающего.

Потом проход расширился. Сначала — чуть, потом — резко, как будто земля раздалась в стороны, и потолок поднялся, и я смог встать на колени, а потом — на ноги. Фонарик в моей руке забегал по стенам, и я увидел комнату.

Круглая. Метров пять в диаметре, не больше. Стены — не земля, а камень — тёмный, гладкий, уложенный ровными, плотно пригнанными блоками, как те, что были на площади в моём первом сне. Потолок — сводчатый, низкий, и на нём, вырезанные в камне, были звёзды — не созвездия, а просто звёзды, россыпь точек, которые слабо мерцали, как будто в камне была вкраплена фосфоресцирующая порода. Или как будто они светили сами.

В центре комнаты — алтарь.

Невысокий, каменный, квадратный, до пояса. Верхняя плита — ровная, тёмная, и на ней лежал крест.

Он был металлическим — тёмный, почти чёрный, с патиной веков, которая делала его поверхность матовой, бархатистой. Четыре равных луча, каждый из которых венчал меньший крест. Точно такой же, как на моём запястье. Точно такой же, как на щите в моём сне. Точно такой же, как на

карте Егора, в круге, под женской фигурой с короной.

Метка вспыхнула.

Не нагрелась — вспыхнула, как бенгальский огонь, и я увидел свет, который шёл от креста на запястье, — белый, яркий, как дуговая сварка, и он вычерчивал в воздухе линии, которые повторяли контуры креста на алтаре. Два креста — один на коже, другой на камне — заговорили друг с другом на языке, который я не понимал, но чувствовал: это был не свет и не тепло, а нечто третье, что не имеет названия ни в одном языке, но что древнее всех языков.

Меня тянуло к алтарю. Не любопытство, не долг, не страх — тяга, физическая, как магнит, как течение, как гравитация, которая не отпускает и не спрашивает разрешения. Ноги несли меня сами, и я не сопротивлялся, потому что сопротивление было бессмысленным — это было бы как сопротивляться падению, как сопротивляться вдоху.

Я подошёл к алтарю. Протянул руку. Метка горела так, что я чувствовал, как кожа плавится, но боли не было — только жар, и свет, и гул, который шёл отовсюду — от стен, от пола, от потолка, от креста, от моего запястья, и гул этот нарастал, как оркестр перед кульминацией, и я коснулся креста.

Всё пропало.

Свет, гул, жар, комната, камень, холод, воздух — всё разом, как будто кто-то выдернул вилку из розетки, и мир вы-

ключился. Не померк, не растворился, не исчез постепенно — именно выключился, и на его месте осталась пустота, которая была не тёмной и не светлой, а никакой. Ничто. Абсолютное, первичное, то, что было до того, как возникло что-либо.

Я не видел. Не слышал. Не чувствовал тела. Не было рук, ног, сердца, дыхания. Был только я — точка сознания, искра в бесконечной пустоте, и в этой пустоте звучал голос.

Её голос.

— Димитрий.

Тихий. Ровный. Тот самый, что звал меня в снах, что шептал название острова, что говорил «сражайся» и «просыпайся». Но теперь в нём не было шёпота — он звучал открыто, полно, как звучит голос человека, который больше не прячется.

— Ты пришёл. Хорошо. Я ждала долго. Дольше, чем ты можешь себе представить.

— Где я? — мой голос, если это был голос, звучал странно — не из горла, а из центра, из того места, где была искра.

— Между. Не там и не тут. Не в твоём мире и не в моём. В месте, где решается.

— Решается что?

— Ты. Твоя дорога. Твой путь. Я не могу отпустить тебя обратно, Димитрий. Путь, которым ты пришёл, закрылся, когда ты коснулся креста. Это не наказание — это условие. Крест — дверь, а двери не открываются в обе стороны. Ты

вошёл. Назад — нельзя.

Пустота вокруг меня не изменилась, но я ощутил тяжесть — не физическую, а другую, как будто на плечи легло что-то невидимое и тяжёлое, и это «что-то» было осознанием: он прав. Нет, она права. Назад — нельзя. Я знал это с того момента, как увидел крест на запястье. Знал — и не позволял себе верить. Теперь верить пришлось.

— Что мне делать? — спросил я.

— Выбирать, — ответила она. — Я могу отправить тебя в один из двух миров. Оба — реальны. Оба — живы. В обоих ты будешь целым, со своим телом, своими memories, своей меткой. Но ты не вернёшься в тот мир, из которого пришёл. Никогда. Твой Петербург, твой завод, твоя капсула, твоя квартира с соседями — всё это осталось по ту сторону двери, и дверь закрыта.

— Какие миры?

Голос помолчал. Не от нерешительности — а от того, что слова были тяжёлыми, и она подбирала их бережно, как камни для фундамента.

— Первый — вперёд. Через тысячу лет от вашего времени. Там, где ваш мир кончился и начался другой. Человечество скатилось в средневековье — не от варварства, а от усталости. Войны, которые вы пережили, не были последними. После вашей Федерации были другие, и они тоже падали, и поднимались, и снова падали, и каждый раз — ниже. Города опустели, технологии забылись, люди вернулись к зем-

ле и к мечу. Но остатки старой цивилизации — вашей цивилизации — ещё видны: ржавые башни, пустые дороги, подземные бункеры с мёртвыми серверами. На их основе можно строить что-то новое. Там нужен тот, кто знает, как работал старый мир. И там нужен мой крест.

— А второй?

— Второй — назад. Через тысячу лет от вашего времени, но в другую сторону. В прошлое. На Русь, когда она только приняла крещение и только начиналась борьба со старыми богами. Когда христианство шло по городам и сёлам, срубая дубовые рощи и низвергая идолов, а за ними, в лесах и на холмах, стояли те, кто не сдавался. Там я не падшая. Там я — живая. Там меня знают, боятся, чтут и зовут по имени. Там моя сила не в метке, а в земле, в воде, в зиме, в смерти, которая приходит за всем живым, но не из злобы, а потому что так заведено.

Пустота дрогнула. Или, может, дрогнул я — от того, что голос её наполнился, окреп, стал глубже, и в нём проступило что-то, что я раньше не слышал: не просьба, не приказ, а надежда. Тихая, старая, как она сама.

— Туда тебя пошлю не как раба и не как воина. Как человека с выбором. Ты можешь идти к истокам — туда, где я ещё сильна, где старые боги ещё живут, где решение ещё не принято, и где ты, с твоей меткой и твоим знанием, можешь стать тем, кто встанет по мою сторону. Или — вперёд, в мир, который забыл меня, и где ты будешь один, с обломками чу-

жой цивилизации и крестом, который некому читать.

— А если я откажусь?

— Ты не откажешься, — голос был спокойным, без нажима. — Не потому что я заставляю, а потому что ты уже выбрал, когда полез в лаз. Тело, которое осталось наверху, у алтаря, — оно моё. Оно было моим с того момента, как я поставила метку. Но душа, воля, выбор — твои. И я возвращаю их тебе, потому что без них ты бесполезен — и мне, и себе.

Тишина. Долгая, тягучая, как мёд. Я стоял — или существовал — в пустоте, и думал.

Вперёд — в мир после конца. Где руины цивилизации и новые средневековые королевства. Где можно строить заново, опираясь на обломки. Где я — человек из прошлого, который знает, как работал ушедший мир, и может дать это знание тем, кто остался.

Назад — в мир до начала. В Русь, которую я знал по книгам и по виртуальным мирам, но никогда не видел живой. В время, когда боги были не метафорой, а реальностью, когда зима имела лицо и имя, когда смерть ходила по лесам и её не боялись, а чтили. В время, когда я — с моей меткой, с моим крестом, с силой, которую я не понимаю, — мог встать по ту сторону, которая проигрывала, но не сдалась.

Я думал недолго. Может — секунду. Может — вечность. В пустоте, где нет времени, и секунда, и вечность — одно и то же.

— Назад, — сказал я. — К истокам.

Голос не ответил. Но пустота вокруг меня сдвинулась — не мгновенно, а медленно, как поворачивается земля, как смена времён года, — и в ней проступил свет. Не белый и не жёлтый — серебряный, холодный, как лунный свет на снегу, и он шёл отовсюду, от каждой точки пустоты, и заполнял меня, и я чувствовал, как тело возвращается — не моё, питейское, городское, а другое, новое, и в то же время — моё, и метка на запястье горела не жаром, а холодом, и холод этот был не смертью, а началом.

— К истокам, — повторил я, и голос мой стал глуше, потому что тело уже было другим, и горло было другим, и лёгкие были другими, и воздух, который входил в них, был другим — холодным, чистым, пахнувшим лесом, и дымом, и снегом.

— Тогда иди, — сказала она, и в последний раз её голос прозвучал так, как звучал в моих снах — тихо, издалека, на грани слышимости. — Иди, Димитрий. Найди меня. Освободи. Или стань тенью.

Свет вспыхнул — ярко, ослепительно, как солнце над Баренцевым морем, и я закрыл глаза, или глаза закрылись сами, и пустота исчезла, и я падал — не вниз, не вверх, а сквозь, как камень, который пробивает тонкий лёд и уходит в чёрную воду, и вода смыкается над ним, и нет больше поверхности, нет границы между двумя мирами, есть только глубина, и холод, и движение, и тьма, и — в самом конце, как искра, которая тлеет и не гаснет — метка. Мой крест. Мой компас. Моя цена.

Я очнулся от холода.

Не того холода, к которому я привык в Питере — сырого, влажного, который забирается под одежду и сидит там, как незванный гость. Этот холод был другим — сухим, жёстким, колючим, и шёл он не снаружи, а изнутри, будто я лежал на льду и лёд вытягивал из меня последнее тепло.

Надо мной было небо. Не серое, не белое — синее. Глубокое, чистое, зимнее, какое бывает только в январе, когда мороз вытряхивает воздух до прозрачности и звёзды горят даже днём — тусклые, но видимые. Снег лежал вокруг — глубокий, пушистый, нетронутый, и я лежал в нём, на спине, и снежинки падали мне на лицо и не таяли, потому что кожа моя была холодной, как мёртвая.

Я шевельнулся. Тело отозвалось болью — тупой, ломающей, как после долгой болезни, и я понял, что лежу здесь давно. Может — час. Может — ночь. Может — дольше. Снег успел наместить вокруг меня сугробы, и я лежал в снежной яме, как в гробу, и холод проник всюду — в мышцы, в кости, в суставы, и каждая клетка тела кричала, что надо двигаться, вставать, греться, не то конец.

Я сел. Снег посыпался с груди, и я увидел себя — и не узнал.

На мне был полушубок — старый, драный, с вылезающим ключьями мехом, местами почерневший от грязи и времени. Швы разошлись на правом плече, и оттуда торчала сваляв-

шаяся овчина, жёлтая, как старая бумага. Под полушубком — льняная рубаха, грубая, неотбелённая, с пятнами, которые я не хотел различать. На ногах — онучки, обмотанные вокруг голени, и лапти — берестяные, рваные, с одного ноги лапоть почти развалился, и сквозь щели виднелась голая, красная от мороза ступня.

На голове — шапка. меховая, из овчины, сбита на бок, мятая, с колтунами свалявшегося меха, которые торчали во все стороны, как рога. Я сдвинул её, и под ней посыпался снег, и я почувствовал, что волосы мои — длинные, спутанные, сальные — тоже свалялись в колтуны, и вся голова чесалась, и стянула кожу, как пергамент на барабане.

Лицо... Я поднёс руки к лицу и провёл по щекам. Щетина — не та питерская, недельная, аккуратная, а борода, густая, неухоженная, в которой, кажется, можно было спрятать мышь. Губы потрескались, и на нижней застыла корка запёкшейся крови. Нос был красным, обветренным, и щипал, как обмороженный. Пальцы рук — синеватые, с грязью под ногтями, и ногти — длинные, обломанные, с заусенцами.

Я не узнал себя. Я не был Дмитрием-тестировщиком в серой заводской форме. Я не был воином в ламеллярной броне, каким был в снежном сне. Я был — кто? Бродяга? Калика переходный? Нищий, которого застал мороз в лесу и оставил лежать в снегу, ожидая, когда весна найдёт тело?

Запястье. Я задрал рукав полушубка — и увидел метку. Крест. Тот самый, с четырьмя равными лучами, с малыми

крестами на концах. Он был на месте — но выглядел иначе. Не светлый, не серебристый, как в моём мире, а тёмный, словно выжженный на коже калёным железом, и рубцы вокруг него были грубые, шершавые, как старый шрам. Он пульсировал — медленно, тяжело, как угасающее сердце, и тепло от него было слабым, едва ощутимым, как тлеющий уголь под слоем пепла.

Но он был. Он вёл меня сюда. И он не погас.

Где-то далеко, за деревьями — а деревья были, высокие, тёмные, еловые, стоящие стеной, непроходимой, чёрной, — слышен был звон. Колокольный. Тяжёлый, медленный, как шаги великана, и каждый удар разносился по лесу и возвращался эхом, и в эхе было что-то, что не было в самом звоне, — тоска, и вызов, и угроза, и обещание.

Я встал. Не сразу — сперва на четвереньки, потом на колени, потом, цепляясь за ствол ближайшей ели, на ноги. Тело не слушалось — колени подогнулись, спина ныла, левая стопа, та, что торчала из разорванного лаптя, онемела так, что я не чувствовал пальцев. Я стоял, привалившись к дереву, и дыхание вырывалось изо рта белым паром, густым, как дым, и тут же оседало инеем на бороде и усах.

Лес был старый. Ели стояли плотно, ветви переплетались над головой, и сквозь них падал редкий, синеватый свет, и на снегу лежали тени — резкие, чёрные, как трещины в белом листе. Снег был глубокий — по колено, а местами и выше, и в нём виднелись следы. Заячьи — мелкие, частые, в цепочку.

Лисьи — ровные, аккуратные. И ещё — птичьи, крупные, с длинными пальцами, которые уходили в сторону, куда шёл звон.

Я стоял в лесу, в драном полушубке, в рваных лаптях, обросший, грязный, и слушал колокол, который звонил где-то за деревьями, и понимал: я пришёл. Не на остров, не к алтарю, не к холму — а сюда. В прошлое. На тысячу лет назад. В Русь, которая только принимала крещение и только начинала борьбу со старыми богами.

Пришёл — не воином. Не героем. Не избранником в сияющей броне. Пришёл бродягой. Нищим. Тем, кого гонят от порогов и пускают ночевать на скотный двор. Тем, кого не замечают или замечают, чтобы плюнуть вслед.

Может, так и надо. Может, в этом мире, где решается судьба богов и людей, не нужны блестящие мечи и стальные щиты. Может, нужен тот, кто придёт пешком, в лаптях, с крестом, выжженным на запястье, и с меткой, которая горит, как уголь в пепле.

Колокол звенел. Снег падал. Метка тлела.

Я застегнул полушубок — насколько это было возможно, потому что пуговицы на нём были костяные, и половины не хватало, — поправил шапку, подтянул онучки на правой ноге, чтобы лапоть не слетел, и зашагал на звук — туда, где звон, где люди, где начиналась история, в которой мне было отведено место.

Снег хрустел под лаптями. Ветер бил в лицо. Я шёл.

Глава двенадцатая. Новое начало

Я шёл на звук.

Колокол звонил нечасто — один удар, пауза, ещё удар, и пауза между ударами была длинной, тягучей, как будто звонарь бил не по обязанности, а по привычке, или от скуки, или от того, что звук был ему нужен — не для людей, а для себя, как нужна песня тому, кто работает один в поле.

Снег мешал. Лапти не держали — проваливались в сугробы, и снег набивался в щели бересты, таял от тепла тела, потом замерзал снова, и ступни мокли, и холод поднимался от пальцев к щиколоткам, к икрам, и ноги становились тяжёлыми, непослушными, как бревна. Онучки размотались на правой ноге — я не заметил когда, — и голень торчала из-под рваного лаптя, красная, обветренная, покрытая коркой засохшей грязи, которая, видимо, была на ней задолго до меня.

Я шёл медленно. Не потому что хотел — потому что по-другому не получалось. Снег был по колено, местами — выше, и каждый шаг требовал усилия, которого тело отдавало неохотно, будто жалея последнее тепло на движение. Полушубок не грел — мех свалился, сбился в комки, и между ними сквозил ветер, который находил дыры и щели и залезал внутрь, как крыса в амбар. Шапка, та самая, с колтунами, сидела криво, съезжала на глаза, и я поправлял её, но она тут

же сползала обратно, и снег сыпался за воротник, и таял на шее, и холодные капли бежали по спине.

Лес стоял стеной. Ели — высокие, тёмные, с почерневшими стволами и ветвями, униженными снегом, — смыкались над головой, и свет, который проходил сквозь них, был синим, жидким, как разбавленное молоко. Тени лежали на снегу — чёрные, резкие, и в них что-то двигалось, или казалось, что двигалось, потому что глаза, привыкшие к городскому свету, к фонарям и экранам, здесь, в лесу, играли со мной, и я то и дело оборачивался, ожидая увидеть — что? Кого?

Тишина. Не та, что была в тундре, — ровная, наполненная, — а другая: густая, плотная, и в ней слышен был каждый звук. Скрип ветки под снегом. Шорох осыпающегося снега. Тихий, далёкий стук дятла — ровный, как телеграф. И мой храп — тяжёлый, хриплый, потому что лёгкие были непривычны к этому воздуху, и каждый вдох отдавался в груди тупой болью.

Колокол был впереди. Я шёл на него, как на маяк, и метка на запястье пульсировала — слабо, едва ощутимо, и тепло от неё было таким маленьким, что я скорее помнил о нём, чем чувствовал. Но я знал: она не погасла. Она вела.

Минуты шли. Или часы — я не знал, потому что телефон остался в рюкзаке, на холме, на острове, в другом мире, в другой жизни. Времени здесь не было — только снег, и лес, и колокол, и холод, и шаг, шаг, шаг.

Лес начал редеть. Ели стояли реже, между ними появля-

лись просветы, и в просветах виден был край — место, где деревья кончались и начиналось что-то другое. Я прибавил шаг, насколько мог, и тут услышал вой.

Вой пришёл сзади.

Далёкий — может, за километр, может, за два — но в тишине зимнего леса он прозвучал так, будто источник был рядом, за ближайшими деревьями. Низкий, протяжный, начинающийся на одной ноте и переходящий в другую, выше, и потом — вниз, к глухому, утробному рыку, который переходил в молчание, и в молчании было хуже, чем в вое, потому что в молчании слышно было, как снег скрипит под лапами — не под моими лаптями, а под другими, легче, быстрее, и их было много.

Я замер. Сердце ударило — один раз, сильно, как молот, и потом — часто, быстро, и кровь прилила к лицу, и щёки загорелись, и руки затряслись, и всё тело напряглось, как струна, которую дёрнули и не отпустили.

Вой.

Я слышал волков — в виртуальных мирах, в играх, в фильмах. Там они были красиво, кинематографично, и страха не было — было восхищение, эстетическое, безопасное, как в зоопарке. Там волк — пиксель, звук, анимация, и после его воя ты нажимаешь кнопку и идёшь дальше.

Этот вой был не из игры. Он был живой, и в нём не было красоты — была голод и зима и computation, холодная и точная: стоя идёт по следу, след ведёт к добыче, добыча —

здесь, рядом, идёт медленно, проваливается в снег, пахнет страхом и потом, и мясо на костях, и кровь под кожей.

Я из конца двадцать второго века. Я вырос в бетонном доме, ел по талонам, работал на заводе, тестировал виртуальные капсулы. Я видел волков на экранах и в капсулах, и они были красивые, и безопасные, и мёртвые. Я никогда — никогда — не слышал волка вживую. Не знал, что вой — это не звук, а физическое ощущение, которое проходит сквозь тело, как рентген, и выворачивает что-то древнее, глубинное, то, что сидит в каждом человеке, под слоями цивилизации, под технологиями, под городами, и что цивилизация не убила, а только усыпила. Первобытный страх. Тот, от которого волосы встают дыбом и ноги бегут раньше, чем голова решает бежать.

Я побежал.

Снег — по колено, по пояс, неважно. Лапти — разваливаются, неважно. Полушубок — тяжёлый, мокрый, неважно. Я бежал, и ноги тонули, и выныривали, и тонули снова, и я падал, и вставал, и бежал, и ветки били по лицу — по щекам, по лбу, по глазам, и я закрывал лицо руками, и руки горели от ударов, и не останавливался.

Шапка слетела. Я не заметил когда — ветка, толстая, покрытая снегом, хлестнула по голове, и шапка улетела назад, в снег, и я не стал её искать, не стал останавливаться, потому что сзади — сзади! — был вой, и он стал ближе, и в нём проступили голоса — отдельные, разные, высокие и низкие,

и они перекликались, и в перекличке был порядок, и этот порядок был страшнее самого воя, потому что порядок означал: стая работает вместе, стая знает, что делает, стая — не хаос, а hunt, и hunt идёт по мне.

Ветки хлестали по лицу. Лицо горело. Глаза слезились — от ветра, от холода, от веток, и я не видел дороги, не видел деревьев, не видел ничего, кроме белого и чёрного — снега и стволов, мелькающих мимо, — и бежать вслепую через зимний лес в рваных лаптях — это не бег, это полёт, полёт без крыльев, полёт вниз, в ловушку, где каждое дерево может стать последним.

Корень. Я споткнулся о корень, торчащий из-под снега, и полетел лицом вперёд, и снег принял меня — мягко, холодно, набился в рот, в нос, в глаза, и я лежал, и дышал снег, и слышал — сзади, близко, совсем близко — топот, быстрый, лёгкий, и рык, и дыхание, тяжёлое, парное, и...

Я вскочил. Не думая, не решая — тело решило за меня, и я бежал, и слёзы замерзали на щеках, и борода была полна снега, и волосы — мокрые, спутанные, колтуны — мотались из стороны в сторону, и я бежал, и бежал, и бежал, и не оглядывался, потому что оглянуться — значит замедлиться, а замедлиться — значит...

Лес кончился.

Резко, как обрезанный ножом. Деревья отступили, и открылось поле — белое, ровное, засыпанное снегом, уходящее к горизонту, и на горизонте — не лес, не горы, а что-

то иное: частокол. Брёвна, врытые вертикально, заострённые кверху, стоящие плотно, друг к другу, и за ними — дым. Столбы дыма, серые, косые, уносимые ветром, и в дыме — жизнь. Люди. Огонь. Тепло.

Я бежал через поле. Снег здесь был мельче — утоптаный, примёрзший, и ноги держали, и я бежал, и метка пульсировала, и сердце колотилось, и позади — я не слышал больше воя. Может, стая остановилась на опушке — волки не любят открытые места. Может, нашли что-то другое. Может, мне показалось. Неважно. Впереди был дым, и я бежал к нему, как бегут к свету, к теплу, к жизни.

Я замедлил шаг, когда миновал середину поля. Сердце всё ещё колотилось, но ноги — ноги были ватные, и дыхание — хриплое, свистящее, и каждый вдох был как глоток льда, и лёгкие горели, и в горле стоял привкус крови — от бега, от мороза, от того, что тело не было готово к этому, не было привычно, не было натренировано. Я не бегал так никогда — ни в Питере, ни в Нарьян-Маре, ни в тундре, — и тело напомнило мне об этом каждой мышцей, каждым суставом, каждой костью.

Частокол был ближе. Я видел его — брёвна, толстые, потемневшие от времени и огня, врытые в землю и заострённые, и между ними — щели, сквозь которые виднелись крыши — соломенные, тесовые, и дым шёл из труб, и пахло — дымом, и хлебом, и навозом, и чем-то ещё, густым, живым, что бывает только там, где люди и животные живут рядом.

Я шёл не к воротам — а по дуге, огибая частокол, ища вход. Ворота не могли быть со всех сторон, и я двигался влево, прижимаясь к стене из бревён, и под ногами хрустел примёрзший снег, и дыхание вырывалось паром, и я был — я знал — похож на того, кем и был: бродяга, оборванец, нищий, который подошёл к чужому поселению и ищет, как войти, не потому что хочет украсть, а потому что не хочет замёрзнуть.

Метель началась — тихая, мелкая, и снег повалил густо, и видимость упала, и частокол растворялся в белой пелене, и я шёл, ища в нём, и тени деревьев за спиной шевелились, или казалось, что шевелились, и я ускорял шаг, и лапоть на левой ноге наконец развалился, и я шёл по снегу голой ступнёй, и не чувствовал уже — не чувствовал холода, не чувствовал боли, только движение, только шаг, шаг, шаг.

Полкруга. Я прошёл полкруга, может, чуть больше, и увидел ворота.

Деревянные, из двух полотен, сколоченных из толстых досок, с петлями из кованого железа и засовом — массивным, бревенчатым, лежащим в пазах. Ворота были приоткрыты — не распахнуты, а чуть-чуть, на ширину плеч, и в проёме стоял мужик.

Мужик был крупный. Выше меня, шире, в полушубке — добротном, не моём рваном, а целом, с мехом наружу, и мех был рыжий, как белка. Борода — рыжая, густая, аккуратно подстриженная, и лицо — румяное, красное, как печное яб-

локо, с широкими скулами и маленькими глазами, которые шурились от ветра и снега. На голове — шапка, меховая, целая, не как моя, и на поясе — ножны, из которых торчала рукоять, обмотанная кожей.

В руках у него был колокол — маленький, медный, ручной, и он бил в него — не сильно, аккуратно, и звук шёл ровный, мерный, и каждый удар сопровождался кивком головы, как будто мужик разговаривал с колоколом, и колокол отвечал.

Я остановился. Посмотрел. Улыбнулся — я не мог не улыбнуться, потому что за последние — сколько? часы? дни? — я не видел ни одного живого человека, а этот был живой, румяный, тёплый, и стоял в воротах, и бил в колокол, и был — реальнее, чем всё, что я прошёл. Лес, волки, снег, холод, метка — всё это было, но вот этот мужик с рыжей бородой и колоколом — он был сейчас, здесь, и я хотел к нему, к его воротам, к его теплу, к его людям.

Я пошёл к нему. Быстрее, чем шёл по полю, почти побежал, и начал махать руками — широко, размашисто, как машут с корабля стоящему на берегу. Полушубок распахнулся, и холод хлынул внутрь, но я не чувствовал его — я чувствовал радость, глупую, животную, от того, что выбрался, что жив, что вижу человека.

— Эй! — крикнул я. — Эй, здравствуйте! Добрый человек! Я — Дмитрий, я из леса, я заблудился, мне нужна помощь!

Мои слова унёс ветер. Или мужик не слышал. Или не понял — потому что он перестал бить в колокол, и его лицо, румяное, добродушное, изменилось. Не зло — но иначе. Глаза сузились, борода дёрнулась, и он медленно, не торопясь, положил колокол на венник у ворот и положил руку на рукоять меча.

Я шёл к нему, и улыбался, и махал, и говорил — говорил по-русски, на своём русском, двадцать второго века, питерском, городском, с интонациями, которым тысяча лет, но с словами, которым — нет.

— Здравствуйте! Я не опасен, мне просто нужна помощь, я замёрз, я не знаю, где я, я...

Мужик вынул меч. Не быстро, не угрожающе — спокойно, уверенно, как человек, который делал это не раз и не задумываясь. Меч был коротким, широким, больше смахивающим на тесак — тяжёлым, с односторонней заточкой, и лезвие поблёскивало тускло, и на нём были пятна — не ржавчина, а что-то другое, тёмное, засохшее, что я не хотел рассматривать.

Он пошёл ко мне. Неспеша, тяжело, втапывая снег сапогами — не лаптями, а сапогами, кожаными, тёплыми, — и лицо его было не злым, а деловым, как у мясника, который подходит к тушке не от ненависти, а от профессии. Он сказал что-то — короткое, рубленое, на языке, который я не понял.

Слова были знакомые и незнакомые одновременно. Корни — русские, или славянские, но окончания, ударения, строй

фразы — всё было другим, и я слышал, как в его речи пропускают звуки, которых нет в моём языке: носовые, гортанные, и «г» отдаёт «гэ», и «о» круглится иначе, и всё это звучало не как иностранный язык, а как русский, который забыли, или который ещё не стал русским.

— Я не понимаю, — сказал я, и это была правда. — Я не понимаю вас. Мне нужна помощь, я...

Он подошёл вплотную. Я видел его глаза — близко, ясно: маленькие, светло-карие, с морщинками в уголках, и в них не было ненависти, но было решение, спокойное и окончательное, как приговор.

— Я не враг! — я поднял руки, показывая ладони. — Я просто...

Тесак опустился.

Я не видел его — не успел. Плоскостью, не лезвием — но удар был такой силы, что мир взорвался белым, потом красным, потом чёрным, и последнее, что я услышал, был не звук удара, а голос — его голос, рыжебородого, — который крикнул что-то в сторону ворот, короткое, командное, и в его крике было не больше эмоций, чем в ударе.

Потом — тьма.

Глава тринадцатая. Поруб

Я очнулся сидя.

Не лёжа — сидя, привалившись спиной к стене, которая была не каменной, а земляной — сырой, плотной, пахнущей глиной и чем-то ещё, застарелым, кислым, что забралось в нос и сидело там, как заноза. Запах был — не резкий, а тяжёлый, въевшийся, и в нём я различал кровь — старую, засохшую, железистую, запах испражнений и плесени, и всё это смешивалось в один густой, удушливый дух, который стоял в воздухе, как вода в стоячем пруду, и дышать им было — всё равно что дышать землёй.

Яма. Поруб. Земляной мешок, вырытый в земле, и я — в нём.

Первое, что я увидел, был свет. Тонкий, узкий, как нить — он пробивался снизу, из-под двери, и лежал на земляном полу полоской, бледной, дрожащей. Дверь — дубовая, из толстых, грубо отёсанных досок, с щелями между ними, и сквозь щели дул ветер — тонкий, холодный, с собой он нес запах дыма, навоза, зимы и всего того, что было снаружи, за этой ямой, в мире, в который я попал.

Я сидел. Спина — прижата к земляной стене, которая была мокрая, и рубаха на спине промокла насквозь. Холод шёл от неё в тело, и тело не грелось. Руки — лежали на коленях, пальцы были синие, ногти — синие, а правая рука, та, что с

меткой, ныла тупой, тянущей болью, крест на запястье пульсировал — слабо, едва, как угасающий костёр, на который забыли подбросить дров.

На мне было всё то, в чём я добрался до поселения. Полушубок — рваный, с вылезающей овчиной, и пуговица, которой не хватало. Рубаха — льняная, грубая, мокрая, с пятнами, которые я не различал в полутьме. Онучи на ногах — намокшие, сбившиеся. Лапоть на правой — ещё держался, хотя едва-едва. Левая нога — босая, и я не чувствовал её. Не боль — отсутствие чувств. Пальцы, ступня, голень — всё ниже щиколотки было как чужое, как деревянное, и когда я дотронулся до ступни, пальцы утонули в холодной, мокрой коже, кожа не отозвалась — ни теплом, ни болью, ничем.

Переохлаждение. Я знал это слово — из школы, из программ подготовки на заводе, из инструкций по технике безопасности, которые мы читали раз в год и тут же забывали. Переохлаждение, обморожение, потеря чувствительности, риск некроза тканей. Знал — и не мог ничего сделать. Не было тепла, не было сухой одежды ни огня. Был только поруб, холод, и я.

Голод пришёл не сразу. Сначала — пустота в животе, тупая, ровная, как будто желудок свернулся и лежал тихо, не напоминая о себе. Потом — ноющая, тянущая боль, которая шла от желудка к горлу. В горле пересохло, язык был шершавый, губы потрескались, и корка запёкшейся крови на нижней губе снова треснула, и я почувствовал вкус — железный,

тёплый, солёный.

А потом — жар. Не от тепла — его не было, — а изнутри, и он пришёл внезапно, как прилив: лоб и щёки горели, глаза слезились. Тело — мёрзло снаружи и горело внутри, и это было — странно, страшно, и я не понимал, что происходит, пока не осознал: простыл. Лежал в снегу, бежал по лесу, промок, замёрз, сидел в холодной яме — и простыл. Жар — это жар. Голова гудит, мысли путаются и мир раскачивается, как палуба корабля, а я сижу, вцепившись в стену, чтобы не упасть. Стена — мокрая, холодная, от неё идет холод, а от меня — жар, и они борются, и я — между ними.

Метка пульсировала. Слабо, едва ощутимо, и в её пульсации не было слов, не было голоса — только ритм, медленный, тяжёлый, как пульс, который замедляется. Я прижал запястье к груди и продолжил сидеть. Каждый вдох давался с трудом — воздух был тяжёлым, спёртым, и в нём не хватало чего-то, лёгкие работали с натугой и дыхание было хриплым, я слышал его — своё дыхание, стук сердца и тишину поруба, которая была не пустой, а наполненной, и в ней — капли. Где-то, в углу, с потолка капала вода — мерно, ровно, и каждая капля падала в лужу, которая стояла на полу. Звук был — глухой, как удар в барабан, и он повторялся, снова, и снова, и снова...

Я сидел в земляной яме, в темноте, в холоде, с жаром, голодный, а запах крови и испражнений стоял вокруг. Я был — один. Совершенно один, в чужом мире, в чужом времени,

без языка, без друзей, без телефона, без консоли, без капсулы, без всего, что было моим миром, и тот мир — мой, питейский, двадцать второго века — был далеко, за дверью, которая закрылась, и не той дверью, из дубовых досок, а другой — невидимой, между временами, и она закрылась навсегда.

Было ощущение что время стоит на месте. Оно текло медленно, густо, как мёд, и в нём не было отметок, не было часов, не было стрелок, я не знал, сколько прошло — час, два, шесть. Жар усиливался — и тогда я горел, пот катил по лицу, рубаха становилась мокрой, и я стягивал полушубок, а после меня бросало в озноб, я дрожал, и зубы стучали, и тогда я натягивал полушубок обратно, и жар возвращался.

Луч света. Тонкий, узкий, из-под двери. Он лежал на полу и на стене, и пока я сидел — а я сидел долго, очень долго, — луч двигался. Медленно, незаметно, как тень от солнечных часов, и в его движении было — единственное мерило времени, которое у меня осталось. Он полз по стене — снизу-вверх, слева на право и когда добрался до верхнего угла, повернул и пополз по другой стене, я следил за ним, как следят за стрелкой, он полз, и полз, и полз. Прошёл день. Или полдня. Или несколько часов. Солнце двигалось по небу, и луч — за ним, мир снаружи жил, а я — нет.

Когда луч лёг на левую стену, и застыл на ней, видимо солнце находилось в зените — полдень, или около того, тогда за дверью послышалось.

Тяжёлое, медленное шарканье, и кряхтение — надсадное,

глухое, как у человека, который несёт что-то тяжёлое и не хочет это показывать. Шаги — двоих, а может больше: одни — лёгкие, шаркающие, старческие, в них слышался труд каждого шага, как будто ноги не слушались, и их приходилось двигать волей. Другие — тяжёлые, скрипучие, уверенные, в них — сила, и привычка, неторопливость человека, который идёт не потому что торопится, а потому что надо.

Шаги смолкли у двери. Кряхтение — тоже, и наступила тишина, короткая, как пауза перед словом, в ней — ничего, только моё дыхание, хриплое, частое, стук сердца, и капель в углу.

Дверь открылась.

Скрип — тяжёлый, протяжный, петли давно не смазывали, дверь подавалась с натугой, и дневной свет, холодный, слепящий, ударил в глаза, я зажмурился, и боль в голове вспыхнула, я поднял руку, прикрыл лицо, и сквозь пальцы — увидел их.

Дед.

Он вошёл первым — и я увидел его не сразу, потому что глаза, привыкшие к темноте, щурились и слезились, мир плыл, и контуры были размыты, как в тумане. Но потом — боль отступила, и я увидел его.

Дряхлый. Старый — настолько, что возраст его был не годами, а эпохами. Лицо — морщинистое, как кора старого дуба. Морщины лежали не просто линиями, а рельефом, как на карте, и каждая морщина — река, дорога, и история. Кожа

— тёмная, загорелая, обветренная, как будто, провела под солнцем и ветром не одну сотню сезонов. Нос — длинный, с горбинкой, на нём — паутина лопнувших капилляров, красных, тонких. Глаза — светлые, почти белые, выцветшие, как небо в знойный полдень, и в них — не старость, а знание. Тихое, глубокое, как колодец, в который бросаешь камень и не слышишь дна.

Борода — седая, длинная, до груди, в ней — жёлтые пряди, как остатки бывшего цвета. Она была аккуратной, расчёсанной, и это было — странно, потому что всё остальное было — ветхим: телогрейка, потёртая, с заплатками, порты, онучи, лапти — целые, крепкие, не мои рваные, а добротные, на шее — шнурок, кожаный, с медным кружком, который тускло поблёскивал в свете из двери.

За его спиной стоял рыжий. Тот самый, с тесаком, и я узнал его раньше, чем рассмотрел — по рыжей бороде, по росту, по тяжёлым рукам. Он стоял в дверях, и держал в руке крынку, из неё шёл пар, и запах — травяной, густой, горьковатый, в запахе были знакомые ноты: зверобой, и что-то ещё, мятное, и мёд. Всё это смешивалось в тёплый, живой аромат, от которого желудок дёрнулся, и пустота в нём стала — острой, режущей, я сглотнул, слюна была горькой.

Дед вошёл и огляделся. Не торопясь, в его движениях была неторопливость, которая не от слабости, а от привычки видеть всё и не удивляться. Он посмотрел на стены, на пото-

лок, на пол, на меня — и его выцветшие глаза задержались на мне, в них — не было страха, не было злости, не было настороженности. Было — внимание. Тихое, полное, как внимание врача, который видит пациента и уже знает, что с ним, но проверяет, чтобы убедиться.

Он повернулся к рыжему и сказал что-то, коротко, тихо, рыжий кивнул и скрылся чтобы через мгновение вернуться, неся в руках табурет. Треногий, деревянный, невысокий, и поставил его передо мной. Дед сел — медленно, осторожно, как садятся, когда колени не гнутся, а спина не держит. Сел, и вздохнул, его старые кости щёлкнули, он устроился, и протянул руку к рыжему.

Рыжий подал крынку. Дед взял её обеими руками. Его пальцы — сухие, жилистые, обхватили глину, из крынки шёл пар, и травяной аромат усилился, дед осторожно отлил в миску, глиняную, маленькую, которую достал из-под телогрейки. От неё пошёл пар, и запах трав только усилился. Я смотрел, желудок урчал, рот был полон слюны, и я ничего не мог с этим сделать.

Дед протянул мне миску.

Я взял. Руки дрожали — и от жара, и от холода, и от голода, миска дрожала в моих пальцах, я поднёс аккуратно её к губам, пар ударил в лицо, и запах — травяной, горьковатый, с мёдом — заполнил нос, и я отпил.

Тепло. Жидкость была не чаем и не водой, а чем-то сред-

ним: травяной отвар, густой, с мёдом и горечью трав был прикрыт сладостью мёда. Тепло шло от него — не сильное, а ровное, и оно растеклось по горлу, по пищеводу, по желудку, от чего тот дёрнулся и сжался, и я отпил ещё, и ещё, пока миска не опустела, тогда я вернул её деду, он взял её, и кивнул, после снова отлил из кринки, и протянул мне, и я сновапил, и тепло — маленькое, слабое, но — живое — разливалось по телу. Руки дрожали меньше, дыхание стало ровнее, жар — отпустил, на минуту, на две, мир перестал качаться, и я увидел их ясно, и поруб, и дверь, и свет, и всё это было реальным.

Дед сидел на табурете и смотрел на меня. Не торопил, не давил — просто ждал, и в его выцветших глазах было — терпение. Безграничное, как тундра, и тогда я подумал: он знает. Он знает, что я не отсюда. Возможно не знает откуда, но — знает, что не отсюда, ждёт, когда я смогу говорить, и был готов слушать.

Рыжий стоял у двери, и в его лице — румяном, краснощёком — было то, чего не было вчера, когда он шёл на меня с тесаком: неуверенность. Не страх — нет, скорее — осторожность человека, который сделал то, что считал правильным, и теперь не уверен, что был прав. Он смотрел на деда — не на меня, а на деда, и в его взгляде было уважение, и подчинение, но и вопрос: «Что дальше?»

Дед заговорил.

Голос его был — тихий, в нём не было силы, не было вла-

сти, не было напора. Была — глубина. Как колодец: на поверхности — тихо, а на дне — бездна. И говорил он на том же языке, что и рыжий — на старославянском, новгородском наречии, — я снова не понимал слов, но слышал — интонацию, и в интонации было: не вопрос, не обвинение, не угроза. Было — «как тебя зовут», «откуда ты», «что с тобой», и «не бойся».

Я открыл рот, и разразился кашлем. Сухим, раздражающим, грудь болела, а кашель не прекращался, и тогда я согнулся. Дед подождал пока кашель не отпустит, Я вытер рот рукавом, и посмотрел на деда, и ответил ему, на своём русском:

— Дмитрий. Меня зовут Дмитрий.

Дед моргнул. Наклонил голову — медленно, как птица, — я увидел, что в его выцветших глазах проступило — узнавание. Не меня — языка. Он услышал мой русский — не его, не новгородский, не старославянский, а мой, двадцать второго века, — и что-то в нём узнал, а что-то — нет, и он повторил, тихо, пробуя на вкус:

— Димитър...

Дед кивнул. Сам себе — как человек, который нашёл ключ и примеряет его к замку. Потом повернулся к рыжему и сказал что-то длинно, с паузами. В его речи я уловил: «чужак», «не понимает», «язык другой», и что-то ещё, что звучало как «подождём». Рыжий кивнул, его лицо — румяное, простое

— стало спокойнее, он отступил к двери и встал, как страж, руки его — лежали на поясе, но не на тесаке, а просто — на поясе, и это было — знаком. Не враг. Пока — не враг.

Дед снова повернулся ко мне и заговорил — медленно, чётко, отделяя слово от слова, после жеста: указал на меня — «ты», потом — на землю — «здесь», потом — обвёл рукой вокруг — «мир», потом — показал на себя — «я», и приложил руку к груди — «помогу», потом кивнул, его выцветшие глаза были — спокойны, в них не было ни жалости, ни снисхождения, но было понимание. Как у человека, который видел чужаков и раньше, и знает, что не все они опасны.

Потом он указал на мою руку. На запястье. На метку.

Стоило ему её увидеть, как в его взгляде промелькнуло узнавание. Не сильно, но я увидел, как зрачки сузились, и морщины вокруг глаз стали глубже, он наклонился ближе — медленно, его старые, сухие пальцы протянулись к моему запястью. Я не отдернул руку, он взял её легко, без нажима, и повернул, метка — тёмная, выжженная, с рубцами — была видна в дневном свете, который шёл из двери, он смотрел на неё, и его губы — тонкие, потрескавшиеся — шевельнулись, и он произнёс слово, которое я не расслышал, но почувствовал, потому что метка откликнулась — вспыхнула, коротко, ярко, и дед отдернул руку, не от страха — от удивления, его выцветшие глаза на мгновение перестали быть выцветшими, а стали яркими, голубыми, и в них проступило что-то, что было глубже знания, — вера.

Он отпустил мою руку. Откинулся на табурете, отчего тот скрипнул, он сел, помолчал, а потом повернулся к рыжему и сказал — одно слово, тихо, рыжий вздрогнул, и его лицо побледнело. Он посмотрел на деда, тот кивнул, и рыжий вышел, шаги его — тяжёлые, скрипучие — удалились. Наступила тишина. В ней остались только дед, я, миска, крынка, свет из двери, холод, жар, запах травяного отвара, запах земли и крови, и — где-то, под всем этим, — слабый, едва ощутимый, как тлеющий уголь — запах зимы. Не той зимы, что была снаружи, в этом мире, а той, что была внутри — в метке, в кресте, в ней, в Морене, которая ждала и не отпускала.

Дед снова отлил отвара в миску и протянул мне. Я взял, отпил, он сидел, смотрел на меня, и ждал, не говорил, и в его молчании было больше, чем в тысяче слов. Я пил, тепло шло, жар отступал, метка тлела, и я думал: может, не всё потеряно.

Глава четырнадцатая.

Дом-милый дом

Мы сидели в порубе — дед на своём треногом табурете, я на земляном полу, привалившись к стене, — и между нами была тишина, которая не тяготила, а согревала, как одеяло. Крынка с отваром стояла между нами, пар поднимался от неё, и травяной аромат — горьковатый, медовый — заполнял яму, запах крови и испражнений отступал перед ним, дышать становилось легче, жар отпустил, не до конца, но достаточно, чтобы я мог думать.

Староста молча ждал. Я не знал, с чего начать. Между нами — стена. Не земляная, а языковая, и она была толще любой стены. В ней не было ни щели, ни лаза, ни двери. Он говорил на новгородском наречии старославянского, я — на русском двадцать второго века, и между нами — тысяча лет, а язык, который был моим предком, стал чужим, как родственник, которого не видел с детства и не узнаёшь при встрече.

Метка пульсировала.

Слабо, ровно — как и всё время, что я сидел в порубе, — но теперь в её пульсации проступало что-то новое. Не жар, не боль, а — ритм. Другой ритм, не мой, не сердечный, иной. Как будто метка слушала, и запоминала, складывала звуки

в узор, и узор этот был — не светом и не теплом, а чем-то третьим, что не имело названия, но что я чувствовал внутри себя.

Дед заговорил. Тихо, медленно, и каждое слово — отдельно, как камешек, который кладут на стол. Он говорил, а я слушал звуки, они были — знакомыми и чужими одновременно. В них проступали корни, которые я узнавал: «земля», «вода», «лес», «человек», «добро», «зло». Но между корнями — окончания, связки, частицы, которые были — другими, и я не понимал их, слова рассыпались, как бусины с порванной нити.

Метка откликнулась.

Я не сразу понял, что происходит. Сначала — тепло. Не в запястье, а в голове — и не боль, а давление, мягкое, ровное, как будто кто-то положил ладонь на затылок и держит, и в этой ладони — тепло, которое проходит сквозь кость, сквозь череп, и достигает того места, где живут слова, и это место — загорается. Не больно — но странно, как будто в голове открыли дверь, которой раньше не было, и за дверью — комната, а в комнате — звуки, и звуки складываются в слова, и слова — складываются в смысл.

Я не понимал и понимал одновременно. Как человек, который слушает музыку на незнакомом инструменте: не знает нот, не знает мелодии, но — чувствует, и чувство — точнее знания. Дед говорил «гъде» — я слышал «где». Дед говорил «человѣкъ» — я слышал «человек». Дед говорил «мѣсто» —

и я слышал «место». И между тем, что он говорил, и тем, что я слышал, была — не разница, а расстояние. Метка сокращала его, шаг за шагом, слово за словом, как мост, который строят с двух берегов и ждут, когда они сойдутся.

Я слушал. Не ушами — головой, и метка — переводила. Не слова — смысл. Она брала его звуки, его интонации, его жесты, и пропускала через себя, и на выходе — не перевод, а понимание, смысл, и смысл был — яснее слов.

Староста говорил. И я начал понимать.

Не сразу. Не целиком. Метка не давала мне язык — она давала ключ, которая подходит к замку, но замок — ржавый, и нужно время, чтобы повернуть. Первые слова были — обрывками: «ты», «откуда», «лес», «зачем». Потом — фразы, короткие, рубленые: «ты вышел из леса», «лес — плохой», «люди боятся». Потом — длиннее, и в них проступали детали. Я начал различать не только смысл, но и оттенки, и в оттенках — характер деда, он был — неторопливый, ровный, как течение глубокой реки, которая выглядит спокойной, но несёт в себе силу.

Метка работала. Я чувствовал, как она понемногу, но — истощает силы, которые и так были на нуле, голова гудела, жар — то отступал, то возвращался, я пил отвар, и он придал немного сил, — а метка брала — немного, и между отваром и меткой был — баланс, хрупкий, как первый лёд на луже.

Дед рассказывал, а я слушал, и понимал — не всё, не сра-

зу, но — достаточно, чтобы сложить картину, и картина была — вот такая.

Деревня называлась Малые Вехи. Небольшая — двадцать дворов, может, чуть больше, в каждом — семья со скотом и огородом. Вокруг нас окружал лес, за небольшим полем была речка, жизнь тут была тихая, и в этой тишине — всё, что нужно: хлеб, мясо, мёд, дрова, крыша над головой.

Малые Вехи не приняли крещение.

Тихомир — а это был он, староста, звали его так. Имя его означало «мирный», и он был — мирным, насколько может быть мирным человек, который живёт на краю леса, из которого не все возвращаются. Тихомир говорил об этом просто, как о факте, как о погоде. Не с вызовом, не с гордостью — с ровностью. Крещение шло по земле — от юга, от Киева, от Новгорода, и шло оно не с миром, а с мечом и огнём, и где проходило — рубили дубы, жгли капища, крестили в реках, а кто не принимал — того крестили силой, тех же, кто сопротивлялся — больше не было. Иные уходили. На север, в леса, в места, куда не доходила ни княжья воля, ни поповское слово, и там жили. Как жили прежде. Как их отцы и деды. Со своими богами, со своими обычаями, со своими страхами, которые были — не хуже и не лучше чужих, но родными.

Малые Вехи были из таких. Поселенцы, которые ушли в лес, в далёкий, глухой, и построили дома, и начали жить, и жили так уже три поколения. Старостой был Тихомир, а перед ним — его отец, а перед его отцом — дед. Его дед и при-

вёл их сюда, из-под Новгорода, когда пришёл поп и сказал: «Креститесь или горите». Дед не горел и не крестился. Он ушёл. И увёл людей, со скотом, с семьями, с их верой, и забрали всё, что было нажито своим трудом, а всё что оставили, то было чужим.

— Лес, — сказал Тихомир, и его выцветшие глаза стали на мгновение ясными, в них проступил — не страх, а уважение, как к силе, которую не выбирают и не меняют. — Лес, из которого ты вышел, — он не наш. Мы не ходим туда. А если и ходим — то не одни, а всем мужечьём, с топорами, с собаками, и то — днём, и то — не глубоко. То — место, оно не для живых.

Я слушал, а метка переводила, и в переводе проступали слова, которых я не знал, но — чувствовал: «запретный», «мертвый», «чужой», и в них было — не суеверие, а знание, выстраданное, переданное от отца к сыну. Знание это гласило: лес — живой, и лес — не любит людей, лес — забирает, и кто зашёл и не вернулся — тот не пропал, а — был забран лесом.

— Ты вышел оттуда, — Тихомир повторил, и в его голосе было — не обвинение, а недоумение. — Один. Без оружия. Без шапки. В лаптях. И — живой. Ждан увидел тебя и решил — нежить или лазутчик. Или морок из леса, который принял человеческий облик и пришёл, чтобы нас погубить. Поэтому оглушил и снёс в поруб. По-другому нельзя. Если бы он впустил тебя в ворота без спросу — я бы его наказал.

Не за то, что оглушил, а за то, что не спросил.

Я кивнул.

Тихомир помолчал. Потом наклонился ближе, и его старые, сухие пальцы снова потянулись к моему запястью. Я протянул руку, он взял её легко, и повернул, метка — тёмная, выжженная, с рубцами — была видна в свете из двери, он смотрел, его губы шевелились, и он произнёс тихо, как молитву:

— Крест Суровой Госпожи.

Я вздрогнул. Не от слов, а от метки. Она откликнулась на его голос — вспыхнула, ярко, и тепло прошло от запястья к груди, в тепле было узнавание, и я понял: он знает. Он знает, чей это крест. Знает не из книг, не из легенд, а из жизни, из веры, из того, что передаётся от отца к сыну, от деда к внукам, в деревнях, которые не приняли крещение и помнят старых богов.

— Суровая Госпожа, — повторил Тихомир, а его выцветшие глаза смотрели на меня — прямо, тяжело. В них не было страха, но было — благоговение. Тихое, старческое, как у человека, который всю жизнь чтит кого-то невидимого и вдруг увидел — знак того, что этот кто-то — рядом. — Морена. Зимняя. Смертная. Та, что приходит за всем живым и не разбирает — князь ты или холоп.

Он отпустил мою руку. Откинулся на табурете, от чего тот скрипнул. Он сидел с задумчивым видом, морщины на его лице стали глубже, и я видел, как он — дряхлый, старый,

с седой бородой и выцветшими глазами — решает. Не мою судьбу — свою. Потому что человек с меткой Суровой Госпожи — это не просто чужак из леса. Это вестник. Или же проводник. Или может быть предвестие. И то, что он, Тихомир, староста Малых Вехов, сделает с этим человеком, — определит не только его судьбу, но и судьбу деревни, и — может быть — судьбу старых богов, которым он служил всю жизнь.

— Добрыня, — сказал он. — Мой внук. Придёт тогда и выпустим. Сейчас он в лесу, с отрядом, проверяют зимники. Вернётся к вечеру, может чуть раньше.

Я кивнул.

Тихомир снова отлил отвара в миску и протянул мне. Я взял, он сидел и ждал, и в его молчании было — терпение, забота, и — что-то ещё, что я не сразу узнал, а когда узнал — удивился. Совесть. Он сожалел. О том, что меня — оглушили, связали, бросили в поруб. Сожалел что я сидел здесь, в холоде и сырости, с онемевшей ногой и жаром, не потому что был виноват, а потому что был — добр, и доброта его была — тихая, как всё в нём, и она не могла изменить порядок, но он мог согреть отваром и посидеть рядом.

— Жаль, — сказал он, его голос был — тихий, в нём не было вины, а было — признание. — Жаль, что так вышло. Но по-другому не могли. Ты вышел из чащи, из которой не выходят. Ждан не злой, он верный. Служба у него такая — беречь деревню. От леса, от зверя, от нежити. От всего, что

приходит оттуда.

Я допил отвар. Вернул миску. Тихомир убрал её под телогрейку, и крынку — туда же, встал и его старые кости щёлкнули, крикнул, постоял, и посмотрел на меня — сверху, в его выцветших глазах было — решение, и решение было — доброе.

— Потерпи, — сказал он. — Добрыня придёт — выпущу. Отведу тебя в дом. Отдохнёшь. А завтра — поговорим.

Он повернулся и пошёл к лестнице, его шаги — шаркающие, медленные — поднимались по скрипучим ступеням, свет из двери дрогнул, и дверь закрылась, тьма вернулась, я остался один, с меткой, и жаром, и онемевшей ногой, и запахом трав, который ещё держался в воздухе, и надеждой. Маленькой, слабой, как метка на запястье, но — живой.

Ожидание было долгим. Жар то отступал, то возвращался, я дрожал то от холода, то от температуры, лежал на земляном полу, пол был мокрым, и холод шёл от него. Я стягивал полушубок — когда горел, и натягивал обратно, когда мёрз, и между жаром и холодом был — я, маленький, слабый, и метка, которая пульсировала, и в её пульсации — не слова, а присутствие. Она была рядом. Та, кто послала меня. Не помогала — не могла, или не хотела. Как звезда, которую не видишь днём, но знаешь, что она есть.

Луч света полз по стене. Медленно, незаметно, я следил за ним, и в его движении было время, и оно шло, солнце двигалось, мир жил, а я ждал.

Когда луч переполз с одной стены на другую, за дверью послышались шаги.

Тяжёлые, уверенные, и пара голосов, в одном я узнал Тихомира, тихий, ровный, а другой был незнакомый, молодой, низкий, в нём слышалась сила, неторопливость, привычка к приказам и их исполнению. Дверь открылась, и вечерний свет, тёплый, рыжий — ударил в глаза, я зажмурился.

На пороге стоял Тихомир, а за ним мужик. Крупный, в добротном полушубке, с мечом на поясе, лицо — не румяное, как у рыжего, а — обветренное, тёмное, глаза — серые, как у Тихомира, в них — ум, сила, и усмешка, которая была не насмешкой, а привычкой к работе, которую делаешь и делаешь из любви, а потому что надо.

— Добрыня, мой внук — сказал Тихомир и махнул за спину. — а это Дмитрий, про которого я тебе говорил. — сказал он уже обращаясь к внуку.

Добрыня посмотрел на меня сверху вниз. Я видел его ясно в вечернем свете: молодой, лет тридцати, может чуть меньше, плечи широкие, руки тяжёлые, мозолистые, шрам на правой, длинный, от запястья к локтю, борода русая, короткая, усы аккуратно подстрижены, шапка меховая, сапоги кожаные, тёплые. Внук. И в его серых глазах, которые были копией дедовых, только моложе, яснее, был не страх и не настороженность, а интерес. И раскаяние. Тонкое, как трещина, которую замазали, но не заделали.

Он заговорил, и благодаря метке я понимал, не сразу, но

быстрее, чем с Тихомиром, слова складывались в фразы, фразы — в смысл:

— Прости, — сказал Добрыня, его голос был ровный, без оправданий, без ерничества. — Прости, что Ждан приложил тебя. Сильно приложил, знаю. Но такова у него служба. Ты из леса вышел, а из леса — выходят либо нежить, либо — беда. Он не мог знать. Дед сказал — метка у тебя, и метка — Её. Пойдём, покажу, где жить будешь.

Я встал. Ноги не держали, правая онемевшая, без лаптя, не слушалась, я упёрся в стену. Добрыня не помог, но стоял рядом, и в его присутствии была опора, я сделал шаг, второй, третий, и выбравшись по лестнице, из этого мешка, свет ударил в глаза, вечерний, рыжий, тёплый — я встал и мир качнулся, но я устоял на ногах.

Вечер был тихий. Солнце стояло низко, почти на горизонте, и заливало деревню ровным, янтарным светом, от которого тени были длинными, снег — розовым, крыши домов золотились. Мороз был лёгкий, не тот, что в лесу, а уютный, домашний, привычный, от него щипало щёки, и дыхание шло паром. Я стоял, босой, в рваном полушубке, и смотрел, наслаждаясь прохладным, вечерним воздухом.

Малые Вехи.

Дома — бревенчатые, невысокие, вросшие в землю, с соломенными и тесовыми крышами, из продухов шёл дым, между домами сновали дети, женщины, собаки, старики же сидели на лавках у изгородей, и всё это было живое, тёплое,

пахучее. Я стоял и смотрел, в глазах были слёзы, не от ветра, а от того, что я выбрался. Из леса, из поруба, из тьмы — и вот: люди, дым, свет, и — жизнь. Не моя, не знакомая, чужая, но — жизнь, и я — в ней.

— Пойдём, — сказал Добрыня и двинулся вперёд. Я пошёл за ним, ноги — босые, мёрзли, я ступал по утоптанному снегу, он хрустел. Правая ступня — онемевшая — не чувствовала, я шёл, как на одной ноге, Добрыня это видел и шёл не спеша, медленно, не торопя, его шаги были — ровные, уверенные, и я хромал за ним.

Деревня была небольшой. Мы шли вдоль главной дороги — утоптанной, широкой, с колеями от саней, дома стояли по обе стороны, и из слюдяных окон лился свет, тёплый, жёлтый, за окнами — тени, голоса, стук, шум, жизнь. Люди выглядывали из-за дверей, из-за плетней, и в их взглядах было не любопытство, а настороженность, и я не обижался. Чужак. Из леса. С меткой Суровой Госпожи. Такого не видели. И боялись. Тихо, по-деревенски, не показывая, но — боялись.

Добрыня шёл и рассказывал. Я слушал, и метка переводила, понимать становилось легче, слова были яснее, и в них проступали детали, детали складывались в картину, и картина была вот такая.

— Дом, в который поселим тебя, находится на краю. Хозяин — был. Пропал в лесу три недели назад — ушёл за дровами и не вернулся. Пытались искать — не нашли. Лес не отдаёт, только забирает. Дом — хороший, крепкий, землянка,

глубоко вкопанная, печь — каменная, тепло держит. Только — две недели дом пустует, сырость набрал. Протопить надо бы, не то будет холодно и сыро, покуда не просохнет.

Я кивнул. Протопить, это я мог. Огонь, дрова, печь это просто.

— Еда там, — Добрыня показал рукой вправо, в сторону дома, который был чуть больше остальных. — живёт там Марфа. У неё попросишь, даст, на первое время. Хлеб, крупу, и ещё что есть. Не жадная. И к деду обращайся, если что. Вон его дом.

Он показал на дом. Двухэтажный, бревенчатый, с резными наличниками и крыльцом, а на крыльце никого, ставни открыты, в окне свет, и я знал, что Тихомир там, и что дверь его для меня открыта, если что.

Мы прошли ещё немного, и деревня кончалась. Дома становились реже, дворы шире, изгороди ниже, и между ними пустота, только снег, а за ними лес — далёкий, тёмный, я смотрел на него и узнавал. Тот самый лес, из которого я вышел, в который не ходят, и из которого не возвращаются. Он стоял стеной, чёрной, непроходимой, и от него шёл холод.

Добрыня остановился.

— Вот, — сказал он и показал на небольшой холм присыпанный снегом.

Землянка. Полувырытая в землю, с бревенчатыми стенами, которые выступали из склона на треть, крыша земляная, засыпанная снегом, из снега были видны чёрные от копоти

провалы продухов. Дым не шёл. Дверь, низкая, из тёсаных досок, с засовом снаружи, и засов убран, и дверь чуть открыта, а за ней — тьма. Густая, плотная, и от неё пахло. Пахло — землёй, и сыростью, и дымом, застарелым, копотью, и чем-то ещё, что бывает в домах, из которых ушли люди, — пустотой.

— Вот, — повторил Добрыня. — Твой. Пока — твой. Протопи, просуши, поживёшь. Завтра дед позовёт — поговорим.

Он постоял, и в его серых глазах — копии дедовых — было то, что я видел у Тихомира: совесть. Тихая, незаметная, он — больше не извинялся, не говорил, но — совесть была. И я кивнул, и он кивнул, повернулся, и ушёл, его шаги тяжёлые, скрипучие — удалились, и я остался один.

Я вошёл в землянку.

Пригнувшись — дверь была низкой, мне по грудь, я протиснулся, и тьма приняла меня. Запах — копотти, сырости, и земля — ударил в нос, я стоял, и ждал пока глаза привыкнут, и темнота отступала.

Внутри была одна комната. Небольшая — шагов пять в длину, три в ширину, стены — бревенчатые, тёмные, не от времени, а от копотти. Копоть была всюду. На стенах, на потолке, на балках, и она была густой, слоистой, как лак, и потянувшись к стене, я ощутил её пальцами — жирную, холодную, пальцы от неё стали чёрными, я вытер её о полушубок, он был и так чёрным.

Дом топился по-чёрному. Я знал это из книг, и из виртуальных миров, и сейчас — видел. Печь — без трубы, дым — выходит через продухи, щели под потолком, и оседает на стенах, на потолке, на всём, дом становится чёрный, воздух тяжёлым, и дышать было трудно, но тепло держит, и в морозы — спасает. Так строили. Так жили. И — сейчас, в этом мире, в этой землянке, в которую меня поселили придётся осваиваться.

Печь каменная, в углу, крупная, с каменным очагом и чугунным котлом, который стоял на холодных углях. Очаг чёрный, в нём была зола, серая, пепельная, и от неё пахло старым огнём, который погас давно. Стол деревянный, тёмный от копоти, и на нём стояла миска, перевёрнутая, и рядом ложка, деревянная, и больше ничего. Лавка у стены, длинная, узкая, на ней не было ничего, ни шкуры, ни тряпки. Окон не было. Продухи под потолком, щели, прорубленные в брёвнах, и сквозь них падал свет, серый, слабый.

В углу, у печи валялся топор. Старый, с потемневшим топорischem и лезвием, которое было не то чтобы ржавым, но тусклым, а на лезвии засохшая грязь. Я поднял его, и он оказался тяжёлым, рука непривычно легла на топорischem, и я взмахнул, топор послушался, и лезвие — блеснуло. Тупой, но — рабочий. Если поточить будет рубить.

Рядом с топором были дрова. Немного — поленьев десять, может, меньше, они были сухие, я поднёс одно к лицу, оно пахло берёзой, и сухой, и тёплой, и тогда я понял: это

— всё. Это мой дом. На первое время. Землянка, чёрная от копоти, с печью, столом и лавкой, без окон, с продухами, и дровами, топором, тьмой и холодом.

Я сложил дрова в печь. Руки дрожали, пальцы не слушались, правая рука — с меткой — ныла, голова гудела, жар — держался, а я работал на остатках сил, которые были как последние капли воды в пустой фляге. Дрова в очаг, щепка из бересты, которая валялась у порога, под них, я решил достать зажигалку, и остановился.

Зажигалки — нет. Рюкзак остался на острове. Телефон — там же. Всё, что было моим, из моего мира, — там, за дверью, которая закрылась. У меня — ничего. Только полушубок, лапти, онучи, топор, дрова, метка, и знания моего столетия.

Огонь. Мне нужен был огонь.

Я посмотрел на печь. На угли — холодные, серые, и в них не теплилось ничего. На пол — земляной, утоптаный, на нём — щепки, мох, береста. И кремень. У порога, в углу, валялся маленький, серый, а рядом огниво, кусок железа, я не знал, как им пользоваться, только видел в фильмах. Я взял кремень, и огниво, подложил бересту и мох, и ударил.

Искра. Одна, вторая, третья — и мох задымилась, я подул, и пламя — маленькое, жёлтое, робкое — вспыхнуло, я поднёс его к дровам, они тоже занялись, не сразу, с натугой, но занялись. Дым пошёл, он заполнил землянку, и я закашлялся, продухи засосали, и дым пошёл наружу, тепло медленно начало распространяться на комнате.

Маленькое, слабое, как метка. Но начало.

Я сидел на лавке и смотрел на огонь, который разгорался в печи, копоть на стенах была чёрной, продухи свистели, дым выходил, а тепло — оставалось, я был один, в землянке, на краю деревни, которая не приняла крещение и помнила старых богов, метка горела на запястье, жар медленно отступал, голод держал.

Глава пятнадцатая.

Жизнь налаживается

Тепло от печи медленно, неохотно просачивалось сквозь мокрую одежду и озноб. Жар был сухим, тяжелым — он пах старой сажей, прокаленным камнем и чем-то животным, древним. Я сидел на краю широкой деревянной лавки, привалившись спиной к бревенчатой стене землянки, и смотрел на свои руки. Пальцы всё еще были бледными, почти восковыми, а ногти отдавали синевой, но дрожь в плечах начала стихать. Метка на запястье больше не горела огнем — она тлела ровным, глубоким теплом, словно уголек под слоем пепла, задавая ритм моему новому сердцебиению.

Нужно было жить. Голос Марены остался там, за алтарем, растворившись в пустоте выбора. Здесь, в Малых Вехах, богов судили по тому, насколько тепло их знамя греет плечи зимой.

Я поднялся. Ноги слушались плохо: правая ступня, отмороженная во время бега из леса, онемела до колена и казалась чужой, деревянной подошвой. Я доковылял до двери, откинул тяжелый деревянный засов и шагнул наружу.

Солнце висело низко над лесом, окрашивая снег в густой, тревожный багрянец. Мороз щипал лицо, но после сырого холода поруба воздух казался чистым, звенящим. Деревня

жила своей тихой жизнью: где-то скрипнула калитка, потянуло дымком, лениво брехнула собака. Никто не обращал на меня внимания — чужак с меткой вызывал суеверный страх издалека, но вблизи люди предпочитали просто обходить стороной то, чего не понимали.

Дом Марфы стоял чуть в стороне от остальных, у самого частокола. Низкий, приземистый, с покатою крышей, заваленной лапником для тепла. Из трубы шел сизый дым. Я постукал костяшками пальцев по толстым доскам косяка.

Дверь приоткрылась без скрипа. На пороге стояла сама Марфа — женщина неопределенных лет, чья кожа была выдублена ветрами и печным жаром так, что морщины казались вырезанными в темном дереве. Она окинула меня взглядом — быстрым, цепким, оценивающим. Посмотрела на босую ногу, на рванину полушубка, задержала взгляд на черной метке, но ничего не сказала.

— Пришел, — констатировала она вместо приветствия. — Заходи, неча стужу пускать.

Внутри пахло сушеными травами, кислым тестом и овчиной. Полутьма скрадывала углы, освещенные лишь отблесками огня из большой русской печи. Марфа молча прошла к широкому деревянному столу, взяла холщовый мешок и начала наполнять его. Движения её были скупыми, точными — ни одного лишнего жеста.

Она выложила передо мной на выскобленную добела доску: Краюху ржаного хлеба. Плотную, тяжелую, ноздрева-

тую, с твердой коркой, которая ломалась с глухим треском. Несколько репин. Мелких, твердых, как камни, грязно-желтых снаружи и белесых внутри. Горсть ячменных зерен в берестяном туеске. Ровные, тяжелые зерна перекатывались с сухим шорохом. Небольшой сверток из промасленной тряпицы. Внутри оказалось вяленое мясо — темные, жесткие жилы оленины, пересыпанные крупной солью.

Марфа завязала мешок и протянула мне. Затем, порывшись в сундуке у печи, достала пару лаптей. Они были старыми, плетение местами залоснилось от чужой ноги, но лыко держало крепко, а пятки не сбились в труху. Следом легла меховая шапка — ушанка из собачьего меха, потертая на макушке, но густая, плотная.

— Лапти твои совсем никуда, — буркнула она, глядя, как я мну обновки в руках. — А мороз крепчать будет. Шапку бери, уши обморозишь — дураком станешь, мне тут блаженные не нужны. Хлеб ешь экономно, это тебе не городская булка, им одним сыт не будешь. Мясо вари долго, пока зубы не сотрет, иначе кишки посадишь.

Я кивнул, принимая дары. Благодарность застревала в горле комом; слова «спасибо» казались слишком легкими, пластиковыми для этого тяжелого, настоящего мира.

— Вода где? — спросил я, прижимая мешок к груди. — У реки прорубь, — махнула рукой Марфа куда-то за спину, в сторону опушки. — Не заблудишься, тропка утоптана. Ведро найдешь в доме своем, оно всегда там стояло. Если Ждан-

то стражник не уволок, конечно, пропойца. Траву заваривать умеешь? — Научусь, — коротко ответил я. — Там сбор простой, — она вытащила из-за пазухи маленький полотняный узелок. — Зверобой да душица, немного чабреца. От лихomanки лесной хорошо гонит, и душу греет. Заваривай круто, но первый отвар сливай — грязь выйдет. Второй пей. Всё, иди. Темнеет скоро.

Она закрыла за мной дверь, отрезав теплый свет и запах очага. Снова холод ударил в лицо, но теперь он был терпимым.

Вернувшись в свою землянку, я первым делом высыпал припасы на стол. Запахи смешались: сладковатая пыль репы, сухой дух злаков, резкая соль мяса и хлебная кислинка. Это был запах выживания. Я отложил еду в сторону и принялся натягивать лапти. Обмотал ноги онучами — длинными полосами грубой ткани, которые дала Марфа вместе с обувью. Мои пальцы, привыкшие к сенсорным экранам и клавиатуре, путались в сыром лыке. Приходилось вспоминать схемы узлов, виденные когда-то в музеях деревянного зодчества или загруженные в память ради любопытства. Ткань ложилась плотно, жестко фиксируя голеностоп. Ступня перестала быть куском льда, хотя чувствительность возвращалась медленно, колючими иголками. меховая шапка опустилась на уши, отсекая сквозняк, гуляющий под потолком.

Я огляделся. Землянка действительно нуждалась в руке хозяина. Копоть на стенах лежала бархатными черными

складками, пол земляной, утрамбованный до каменной твердости. Но печь — главное сокровище — выглядела добротной. Массивная, сложенная из дикого камня и глины, она занимала треть помещения.

Пора было искать ведро. Никаких гаджетов. Никакого фонарика. Только мои глаза и знание того, что хозяйственная утварь обычно хранится ближе к выходу. Я вышел на улицу, ежась от ветра. Сразу за порогом, занесенное свежим пухляком, торчало нечто деревянное. Я разгреб снег рукавицей. Дубовое, с железными ободами, почерневшее от времени. Тяжелое. Я взялся за дужку, напряг мышцы спины — привычная тяжесть инструмента принесла странное, забытое удовлетворение. Инструмент делает человека человеком. Даже если этот человек вчера тестировал виртуальные миры.

Прихватив ведро, я пошел к реке. Тропинка вилась между сугробами, мимо черных колея огородов. Река открылась внезапно — широкая лента белого льда, перечеркнутая чёрной чертой проруби. Пар поднимался над водой, оседая инеем на бровях. Я подошел ближе. Ледяной пар обжег легкие. Я встал на колени, примерился и опустил ведро вниз. Вода ухнула гулко, глубоко. Когда я вытянул полное ведро, края мгновенно схватило тонкой стеклянной кромкой льда. Вода была черной, тяжелой, мертвой — и живой одновременно.

Обратный путь показался короче. Войдя в землянку, я закрыл дверь на засов. Теперь это был *мой* дом. Моя крепость. Первым делом — огонь. Рядом с печью лежала аккурат-

ная поленица сухих дров. Я выбрал несколько тонких лучин, бросил их в зев печи. Огнива своего не было — мой позор. Пришлось использовать знания физики. Я нашел на приступке кусок кремня и стальной обломок. Удар. Искры полетели редким дождем, попадая в сухую бересту. Береста свернулась в трубку, занялась желтым, смолистым пламенем. Я осторожно подложил тонкие лучины, потом — поленья побольше. Печь загудела, втягивая воздух. Сухое дерево трещало ровно, успокаивающе. Я знал, что нельзя закрывать поддувало сразу, нужно дать тяге разойтись — спасибо школьным урокам ОБЖ и десяткам часов просмотра исторических реконструкций.

Теперь вода. Я снял чугунок — черный, пузатый, покрытый изнутри вековым нагаром. Подвесил его на специальном крюке прямо над разгорающимися углями. Вылил студеною воду. Та зашипела, соприкоснувшись с горячим металлом, и по землянке пошел первый, чистый запах влаги.

Пока вода грелась, я сел чистить репу. Ножа нормального не было — только тот, что был внутри чугунка. Тонкое лезвие скользило по плотной мякоти. Репа поддавалась тяжело, нож вяз в ней. Мне пришлось вспомнить анатомию режущих кромок: ставить лезвие плашмя, скалывать куски, как делают это щепой. Запах пошел специфический — землистый, острый, слегка горьковатый. Я срезал кожуру тонкими лентами, обнажая сочную белую плоть, и крошил её в миску неровными кубиками. Мозг автоматически анализировал процесс:

высокое содержание клетчатки, витамина С, сложные углеводы для долгого поддержания температуры тела.

Ячмень требовал иного подхода. Сначала его нужно было перебрать. Я расстелил чистую тряпицу и высыпал туда горсть зерен. Перебирать крупу руками, выискивая черные соринки и камешки — занятие медитативное. Оно очищало голову лучше любых препаратов. Мысли о заводе, о капсулах, о сером небе Питера отступали, вымораживаемые этим простым действием. Чистая крупа ссыпалась обратно в туюсок.

Мясо. Вяленая оленина была жесткой, как подошва. Резать её ножом смысла не имело — волокна тянулись, не поддаваясь. Я нашел на столе плоский камень-молот (наверняка использовался для дробления костей) и положил кусок мяса на край лавки. Первый удар отозвался болью в запястье, второй — уже увереннее. Я бил размеренно, превращая жилистую массу в темно-красную крошку. Солёный сок пачкал руки. Я помнил из курса истории, что солонина такого типа требует долгой термической обработки, чтобы денатурировать белки и сделать их усвояемыми.

Вода в чугунке наконец закипела. Бурление стало активным, со дна пошли первые пузыри. Я аккуратно, старым половником из обожженной глины, засыпал в крутой кипяток сначала ячмень. Крупа сразу ушла на дно, окрасив воду в мутновато-белый цвет. Я помешал варево гладкой палочкой.

— Пусть побулькает, — сказал я вслух. Звук собственного

голоса в пустой землянке прозвучал хрипло, незнакомо.

Через десять минут, когда ячмень начал набухать и отдавать крахмал, делая воду похожей на клейстер, я добавил репу. Кубики всплыли, закружились в водовороте. Запах стал гуще — овощная сладость смешалась с хлебным духом разваривающегося зерна.

Еще через четверть часа, когда репа стала мягкой и начала распадаться, окрашивая похлебку в приятный золотисто-коричневый оттенок, пришла очередь мяса. Крошка упала в котел, и бульон моментально помутнел, жир с вяленины начал таять, собираясь на поверхности радужными разводами. Соль добавлять нужды не было — мясо пропитало всё своим рассолом. Я зачерпнул немного отвара пальцем, остудил о губу. Горячо. Густо. Пресновато.

Я вспомнил про травы. Развязал узелок Марфы. Зверобой дал травянистую горчинку, душица — пряную, медовую нотку, чабрец — хвойную свежесть. Я растер сухие листья в ладонях, измельчая их, чтобы отдали максимум вкуса, и бросил щепоть в кипящее варево.

Запах изменился мгновенно. Исчез запах простого варева бедняков. Появился аромат дома. Сложный, глубокий, согревающий.

Я убавил жар в печи, сдвинув одно полено в сторону, чтобы угли тлели, а не горели открытым пламенем. Накрыл чугунок тяжелой деревянной крышкой. — Потомится, — пробормотал я.

Оставив кашу доходить, я сполоснул чугунок, найденный в глубине печи, остатками холодной воды из ведра, протер его пучком сухого сена. Теперь нужна была кружка. Я искал глазами и нашел на полке две глиняные плошки, затянутые паутиной. Одну я тщательно вымыл, набрав снега в ладони и растерев стенки, пока лед не счистил всю грязь.

В чистый чугунок я налил свежей воды из ведра и поставил его снова в печь, прямо на раскаленный под. Вода должна быть кипятком. Травы нельзя заваривать как попало — они отдают силу только в крутом, бьющем ключом вареве. Я точно знал температуру экстракции эфирных масел, но сейчас важнее было просто не испортить дар старухи.

Пока грелась вода для чая, я вернулся к столу. Взял большую деревянную ложку, попробовал кашу из-под крышки. Пар ударил в лицо, обдавая жаром. Я подул, набрал полную ложку.

Вкус был первобытным. Ячмень разварился полностью, потеряв форму, превратившись в нежную, обволакивающую массу. Репа дала сладость и плотность. Мясо таяло во рту, распадаясь на отдельные упругие волокна, пропитанные соком овощей и духом трав. Никакой химии, никаких усилителей вкуса из двадцать второго века. Только земля, вода, огонь и время. Каждая ложка давала физическую, осязаемую энергию. Холод, сидевший в костях, начал отступать не от жара печи, а изнутри, разливаясь по венам вместе с едой.

Я ел неторопливо, чувствуя, как желудок, привыкший к

синтетическим пайкам и талонной столовой еде, принимает эту грубую пищу с благодарностью. Миска быстро наполнилась сытостью, приятной тяжестью. Усталость последних дней — дорога, остров, выбор, бег по лесу, лихорадка в порубе — навалилась разом, стоило телу понять, что угроза голода миновала.

Закончив трапезу, я сполоснул ложку, вытер рот рукавом. Затем перелил остатки травяного отвара из чугунка в глиняную плошку. Над ней поднимался густой, сизый пар. Я вдохнул полной грудью. Дом дышал.

Это была сложная симфония запахов. Основа — влажная, минеральная сырость не до конца просохшей земли и гниющего дерева стен. Поверх неё — сладкий, въедливый запах копоти от печи. Третий слой — густой, мясной дух каши, оставшийся в воздухе. И четвертый, самый легкий, летящий поверх всего — свежий, лекарственный, летний запах заваренного зверобоя и чабреца. Этот последний запах побеждал. Он говорил весне посреди зимы.

Я почувствовал, что глаза закрываются сами собой. Тепло от печи разморило окончательно. Нужно было спать. Спать долго, восстанавливая тело.

Я подтянул лавку, на которой сидел, вплотную к самому устью печи, но так, чтобы случайная искра не попала на старую овчину. Лег, подложив одну руку под голову, другой укрывшись краем полушубка. Земляной пол подтаивал снизу от жара печи, становясь мягким. Копоть на потолке едва

заметно мерцала в отблесках углей, создавая иллюзию звездного неба.

Я закрыл глаза. Сквозь дрему я слышал, как ветер посвистывает в продухах под потолком, как тихо потрескивают дрова, как капает где-то в углу талая вода. Впервые за много дней — с того момента, как загорелся крест на запястье в питерской квартире — тишина не несла угрозы. Она была безопасной.

Метка на руке пульсировала в такт биению сердца — медленно, ровно, спокойно. Суровая Госпожа отпустила поводья. Она привела меня сюда, бросила в снег, заставила выбрать жизнь вместо смерти, и теперь просто смотрела, что я буду делать с этой жизнью.

Сон накрыл меня мягко, как снежное одеяло. Без сновидений. Просто черная, теплая глубина, в которой можно было наконец отпустить контроль и стать просто уставшим человеком в землянке на краю языческой деревни.

Глава шестнадцатая. Новый день

Сон отступал медленно, неохотно выпуская меня из черной глубины. Я проснулся от холода. Тепло вчерашнего вечера исчезло — печь выстудилась за ночь, и воздух в землянке стал колким, влажным, пахнущим остывшей золой. Дыхание вырывалось изо рта густым белым паром. Метка на запястье отозвалась слабым уколом, напоминая о себе.

Тело ныло после вчерашней лихорадки и бега, но голова была ясной. Жар спал окончательно. Я сел на лавке, натянул шапку поглубже и выдохнул облачко пара. Нужно было вернуть огонь.

Кремень лежал там же, где я оставил его вчера — на приступке у печи. Найти сухой трут оказалось сложнее; пришлось лезть под самую крышу, к продухам, где висели пучки старой, пересушенной паутины и древесная пыль. Несколько ударов кресала о камень высекли сноп искр. Искры падали лениво, гасли одна за другой. На пятой попытке сухая пыль наконец затлела тонкой красной нитью. Я осторожно раздул её, подкладывая тончайшую бересту, а затем — сухие лучины. Огонь схватился с тихим вздохом. Печь снова загудела, втягивая жизнь.

Завтрак был скудным, но необходимым. Я разогрел остатки травяного отвара в глиняной плошке над углями. Взял краюху ржаного хлеба, которую дала Марфа. Хлеб замерз за

ночь, превратившись в камень. Пришлось соскабливать ножом кусочки прямо в горячую жидкость. Размокшая крошка превратилась в клейкую массу. Это нельзя было назвать едой в привычном смысле — это было топливо. Горький отвар обжег горло, хлеб лег тяжелым комом в желудок, согревая изнутри.

Позавтракав, я оглядел свое жилище при дневном свете, который скупо пробивался сквозь щели-продухи. Вид был удручающим. Копоть свисала со стен черными сосульками, земляной пол покрывал слой слежавшейся грязи и мусора прошлых жильцов. Жить так было нельзя. Если духи этого места увидят такой бардак, они заберут меня быстрее, чем волки из леса.

Я начал искать инструменты. За дверью, занесенные снегом, нашлись настоящие сокровища: деревянная лопата и два туго связанных пучка жесткой соломы.

Уборка началась сверху. Я забрался на широкую теплую лежанку печи — единственное место, куда почти не доставала сырость — и принялся обметать стены пучками соломы. Сухие стебли поднимали клубы черной пыли. Копоть сыпалась мне на плечи, оседала в бороде. Я работал методично, как когда-то тестировал код — квадрат за квадратом, снимая верхний слой грязи. Когда солома стала слишком жирной, я сменил её на свежую. Стены постепенно обнажили свой первоначальный цвет — темно-коричневое, прокопченное дерево.

Затем пришел черед пола. Деревянной лопатой сгреб весь сор, шелуху и старые кости в одну кучу у порога. Вынес всё это наружу, швырнув подальше в сугроб. Остатком воды из ведра протер стол и выскоблил чугушки песком, который набрал тут же, у входа (песок хорошо работает как абразив). Внутри запахло мокрой землей и дымом — уже не затхлым, а рабочим.

Закончив внутри, я взял лопату и вышел на улицу. Снег за ночь намет высокие языки, полностью скрыв нижнюю часть двери. Работа пошла ритмично: широкий взмах, скрип лыжи по насту, бросок тяжелого пласта в сторону. Холодный воздух бодрил, мышцы спины приятно горели. Пока расчищал площадку перед входом, лезвие лопаты глухо стукнуло обо что-то твердое. Не камень. Я разгреб снег руками. Второе деревянное ведро, добротное, окованное железом чуть ли не до середины. А рядом — широкое деревянное корыто для стирки или купания. находка была кстати. Ведро давало запас прочности, что бы не ходить за водой часто.

Очистив площадку, я почувствовал удовлетворение. Перед моей землянкой теперь была утоптанная, ровная площадка, свободная от снега. Дом приобретал границы.

Порядок снаружи требовал порядка внутри себя. Глядеть на старосту грязным зверем было бы ошибкой. Я сходил к проруби дважды, тяжело переставляя ноги в лаптях по скользкому льду. Два полных ведра студеной воды стояли теперь на полу. Я повесил котелок над огнем и стал ждать,

пока вода пойдет мелкими пузырьками — кипятить долго смысла не было, она нужна была просто горячей.

Перетащил корыто ближе к печи, чтобы брызги не летели на чистый пол. Налил воду, разбавив её остатками холодной из ведра до терпимой температуры. Пар заполнил землянку, оседая каплями на черных бревнах потолка.

Первым делом — волосы. Колтуны сваялись в единый жесткий панцирь, пропитанный потом и грязью тундры. Я опустил голову в корыто. Горячая вода ударила по коже тысячей иголок. Намывивал я их тем же песком и золой — мыла здесь не водилось. Пена была серой, густой. Распутывать приходилось пальцами, прядь за прядью, иногда дергая так, что из глаз сыпались искры. Вместе с грязью смывалась память о городе. Каждый вырванный узел отрезал кусок прошлой жизни.

Когда волосы были распутаны и стекли тяжелой, влажной массой, пришло время ножа. Нашелся он там же, где и всё остальное — примотанный кожаным ремешком к одной из потолочных балок. Старое, тусклое железо, но заточку держащее.

Зеркала не было. Его заменяла водная гладь в корыте. Отражение в нем дрожало и искажалось, но контуры давало верные. Я зачерпывал горстями воду и смачивал волосы, зачесывая их назад ладонями. Нож ходил ровно. Чик-чик. Пряди падали на колени, смешиваясь с мыльной водой. Я срезал длину чуть выше плеч — длиннее мешало бы рабо-

тать, короче — морозило бы шею. Форма получилась грубой, неровной, но голова сразу стала легкой.

Борода требовала иного подхода. Лицо чужака должно внушать если не почтение, то хотя бы понимание, что перед ним человек, а не лесной дух. Я оставил длину в пару пальцев — аккуратная, окладистая борода, какую носят крепкие хозяева. Подровнял линию щек, убрав дикий волос, спускавшийся к шее. Обрезки собрал и бросил в огонь — нечего разбрасывать свою силу.

Я умылся последний раз чистой, ледяной водой из ведра, смывая мыло. Вытер лицо жестким рушником, который нашелся в сундуке. Провел рукой по подбородку. Щетина была густой, русой с ранней проседью на скулах. Из отражения в котелке на меня смотрел совершенно незнакомый мужчина. У него было мое лицо, мои синие глаза, но взгляд стал другим — тяжелее, спокойнее. Кожа обветрилась, губы потрескались, но синева под глазами ушла. Лихорадка отпустила.

Я посмотрел на свои руки. Они были чистыми. Впервые за несколько дней я чувствовал себя человеком. Не воином, не избранником богов, не бродягой — просто мужчиной, у которого есть дом, очаг и порядок вокруг. Старые, драные вещи на мне всё еще кричали о нищете, но тело под ними больше не принадлежало замерзающему доходяге.

Пора было отдавать долги и закреплять право на эту землю.

Я оделся, подпоясался найденным здесь же сыromятным

ремнем, нахлобучил шапку. Окинул взглядом прибранную землянку. Она приняла меня. Теперь нужно было, чтобы деревня приняла тоже.

Я вышел, плотно прикрыл за собой дверь и направился к дому Тихомира. Солнце стояло высоко, снег хрустел под лаптями звонко и чисто. Воздух пах дымом и надеждой на весну

Солнце перевалило зенит и начало медленно, неохотно сползать к верхушкам елей. В Малых Вехах стоял полдень — время, когда короткий зимний день кажется самым ярким и долгим. Снег под ногами скрипел так звонко, что этот звук отдавался в зубах, а тени от домов вытянулись длинными синими полосами, перечеркивая утоптаные дорожки.

Я запахнул плотнее собачий треух, который нашел вчера на полке, и шагнул за порог своей землянки. После утренней уборки внутри было сухо и почти уютно, но оставаться там дольше смысла не имело. Порядок нужно поддерживать постоянно, иначе тлен возьмет свое, но сейчас у меня были дела поважнее. Нужно было легализоваться.

Деревня жила полной грудью. Бабы гремели ведрами направляясь к проруби, переругиваясь через весь двор беззлобно, по-соседски. Мужики ладили сани — дерево стонало под ударами топоров. Запах дыма здесь был гуще, смешиваясь с ароматом свежего хлеба и парного навоза. Жизнь шла своим чередом, размеренная веками. Люди спешили закончить работу до того, как начнет быстро темнеть. Но сто-

ило им завидеть меня, идущего вдоль плетня, как эта размеренность давала сбой. Разговоры стихали, словно их обрезало ножом. Кто-то отворачивался, делая вид, что поправляет шапку или ищет что-то в снегу. Другие просто молча переходили на другую сторону узкой улицы, уступая дорогу. Они опасались. Я читал это в том, как напрягались их плечи, как они старались не встречаться со мной взглядом. Для них я был ходячей дурной вестью. Человек из запретного леса, да еще и меченый старым богом — такого не ждут ни с добром, ни с миром. Вера верой, лешему можно оставить краюху хлеба на пне, но когда древняя сила вышагивает рядом с тобой в человеческом теле — это пугает до пота.

Дом Тихомира я узнал сразу — он стоял чуть наособицу, крепкий, ухоженный, с высоким крыльцом. На крыше сидел нахохлившийся воробей и деловито чистил перья, совершенно не боясь близости человека. Значит, место спокойное.

Дверь мне открыл Добрыня. Он уже сменил походную одежду на домашнюю рубаху, но лук всё так же стоял приклоненным к лавке в сенях. Увидев меня, он лишь коротко кивнул, словно мы расстались пять минут назад. — Проходи. Дед ждет.

В горнице пахло сушеным зверобоем и печеной репой. Староста сидел за широким столом, перебирая какие-то берестяные грамоты при свете лучины, хотя на улице был ясный день — привычка старых глаз экономить зрение. Когда

я вошел, он поднял голову. Выцветшие голубые глаза прошли по моей фигуре: от грязных лаптей до свежестриженных волос. Взгляд задержался на метке. Тихомир едва заметно дернул щекой, но ничего не сказал о ней.

Я переступил с ноги на ногу. Тишина затягивалась.

— Садись, — наконец проскрипел староста, указывая мо-
золистой рукой на скамью, напротив. — Отвар будешь? —
Не откажусь, — хрипло ответил я. Горло всё еще драло по-
сле вчерашнего бега.

Добрыня, стоявший у печи, сноровисто плеснул мне гу-
стого варева в глиняную кружку. Напиток обжег пальцы
сквозь дерево, но тепло пошло по телу приятное, разгоняя
остатки сна.

Тихомир сложил руки на столе замком. Пальцы у него бы-
ли кривые, скрюченные тяжелой работой, но хватка чувство-
валась железная. — Время — полдень, — начал он без пре-
дисловий, глядя куда-то мне в переносицу. — А значит, ра-
бота стоит. Здесь, Дмитрий, воздух даром никто не греет.
Либо ты приносишь пользу общине, либо община приносит
пользу лесу, скармливая тебя волкам, чтобы те сытые были и
к нам не лезли. Дармоедов тут нет. Вопрос с ними решается
быстро. Понял ли?

Это была не угроза. Это был договор. Устав выживания.
Я посмотрел ему прямо в глаза. — Понял. Руки есть, голова
тоже цела. Готов работать.

Староста пожевал губами, словно пробуя мои слова на

вкус. Затем повернулся к внуку: — К Ярославу его отведешь. Кузнец наш вчера всю деревню на уши поставил — уголь кончился, мех порван, один не справляется. Помощник ему нужен. Крепкий. Чтобы спину не жалел.

Ярослав. Имя отозвалось в памяти эхом школьных уроков истории. Первый среди мастеров. Без кузнеца деревня мертва — ни косу отбить, ни нож выковать, ни наконечник для стрелы посадить.

— Подмастерье? — уточнил я. — Нет, — отрезал Тихомир. — До подмастерья тебе годы учиться, если жив останешься. Будешь носить, что скажут. Дрова колоть, руду дробить, углем засыпать, сор мести. Грязная работа. Жаркая. Справишься?

Огонь. Металл. То, что можно понять руками и логикой процесса. Лучшего прикрытия для моих знаний придумать было нельзя. — Справлюсь.

— Вот и ладно, — староста удовлетворенно откинулся к стене, и доски под ним скрипнули. — С этого дня ты человек Малых Вех. Живешь в той землянке, харчуешься у Марфы в счет будущей работы. За старшего над тобой — Ярослав. Ослушаешься — вылетишь за частокол. Всё. Иди.

Разговор занял не больше десяти минут. Ни приветствий, ни долгих расспросов. Только суть. Меня оценили, взвесили и определили место в пищевой цепи. Это было честнее, чем корпоративные интриги двадцать второго века.

Мы вышли на улицу. Солнце било прямо в глаза, отража-

ясь свежего снега. Воздух дрожал от мороза. — Ярослав у нас любят, хоть и нелюдим он, — говорил Добрыня на ходу, широкими шагами меряя утоптаный снег. — Без железа ни сохи не сделать, ни наконечника для стрелы. К нему княжьи люди даже зимой пробиваются, если нужда прижмет. Характер у него... огонь. Как в горне его. Чуть что не так — орет, плюется, углем кидается. Ты внимания не обращай, он отходчивый. Главное — работу делай.

Кузница располагалась через один дом от жилища старосты. Она отличалась от других построек сразу: крыша над ней была ниже (чтобы жар держался), а из широкой трубы валил густой, сизый дым, пахнувший серой и жженым деревом. Само здание представляло собой приземистый сарай из толстых бревен, вкопанных глубоко в землю. Никаких окон — только узкие щели-продухи под крышей.

Добрыня толкнул низкую дверь. Изнутри пахло жаром, таким плотным, что он казался осязаемым. Тяжелый дух окалины, пота, раскаленного металла и угля заполнил легкие. После уличного холода здесь было как в бане.

Глаза привыкали к полумраку. Очаг занимал половину помещения — огромное каменное жерло, обложенное гранитными валунами, сейчас дышало ровным багровым светом. По стенам были развешаны клещи разного размера, тяжелые молоты, зубила. Тут и там стояли корзины с рудой — бурым, тяжелым камнем, мешки с древесным углем, грудой лежали железные крицы — ноздреватые лепешки сыро-

го металла.

У наковальни, спиной к нам, стоял человек. Огромный, сутулый, с широченными плечами, которые едва помещались между стенами сарая. Когда мы вошли, он обернулся.

Лицо его было черным от копоти, седая борода всклокочена, а маленькие, глубоко посаженные глаза блестели красным огнем, отражая пламя горна. Это был Ярослав — кузнец.

Глава семнадцатая. Тяжкий труд

Ярослав обернулся не сразу. Сначала он с глухим кряканьем опустил тяжелый молот на наковальню, и сарай вздрогнул от удара. Только потом, вытерев закопченное предплечье о такой же грязный кожаный фартук, он посмотрел на нас.

Его лицо было похоже на старую карту — испещренное глубокими морщинами, прожженное летящими искрами, покрытое слоем сажи, которую не брала никакая вода. Только вокруг глаз кожа оставалась светлой, там, где её защищали веки. Глаза у него были маленькие, глубоко посаженные, и сейчас в них отражалось багровое пламя горна, отчего казалось, что кузнец смотрит на мир сквозь два тлеющих угля.

— Ну? — пророкотал он, и голос его был под стать кузнице: низкий, вибрирующий, пахнувший железом и перегаром. — Кого привел, Добрыня? Еще один рот?

— Руки привел, дядька Ярослав, — спокойно ответил внук старосты, делая шаг в сторону, чтобы не мешать жару от печи. — Тихомир прислал. В помощь тебе. Дрова, уголь, руда. Чтобы спину твою старую не ломать.

Кузнец хмыкнул. Звук был похож на треск сухого дерева в огне. Он перевел взгляд на меня, и мне показалось, что меня просканировали рентгеном. Он смотрел не на лицо, а на руки — на мои ладони, на то, как я стою, как держу плечи.

— От него пахнет лесом, — вдруг сказал Ярослав, ткнув в мою сторону коротким пальцем с черным ногтем. — И смертью. Не наш он, Добрыня. — Наш теперь, — отрезал тот. — Дед сказал — в дело. — В дело, значит... — Ярослав пожевал губами, отчего седеющая борода зашевелилась. — Ну, посмотрим, какое с него дело.

Он развернулся всем своим массивным телом обратно к горну. Я наконец смог осмотреться по-настоящему, сбросив оцепенение от его взгляда.

Пространство кузницы давило. Низкий потолок, закопченный до черноты, казалось, вот-вот опустится и придавит нас. Воздух дрожал от жара, стоящего у наковальни — здесь было градусов сорок, если не больше, и после уличного мороза меня прошиб пот. Пахло специфически: жженой костью, окалиной, кислым духом пота и сырым деревом.

В центре, занимая добрую треть сарая, стоял горн. Не печь в привычном мне понимании, а яма, обложенная гранитными валунами, внутри которой бушевало ревущее пламя, раздуваемое кожаными мехами. Меха — два огромных мешка из воловьей шкуры, соединенные рычагом — стояли чуть поодаль. Рядом с ними лежал тяжелый дубовый клин, которым, видимо, управляли ногой.

У правой стены, на массивном дубовом пне, вросшем в землю, стояла наковальня. Настоящая, не бутафорская. Тело её было из мягкого железа, а лицо — из наваренной высокоуглеродистой стали, выщербленное тысячами ударов. Рядом

в песке торчали зубила, гладилки и пробойники.

По стенам висели клещи. Десятки клещей — от крошечных, которыми только блоху давить, до огромных, похожих на челюсти сказочного зверя, способных удержать раскаленную подкову.

В углу высились мешки с древесным углем — легкие, но объемные, от них шел сладковатый, удушливый запах. Под ними — корзины с рудой. Я подошел ближе, присел на корточки. Бурый, тяжелый камень, местами поблескивающий металлическим блеском. Железная руда. Мой мозг, привыкший к микросхемам, на секунду завис, пытаясь обработать информацию: чтобы получить вот этот ржавый кусок, люди жгли лес, рыли землю и плавил камень при температуре свыше тысячи градусов, не имея ни термометров, ни электричества.

— Чего встал? — рыкнул Ярослав, не оборачиваясь. Он выхватил из огня длинную полосу раскаленного добела железа клещами. Полоса светилась так ярко, что смотреть на неё было больно. — Дрова за углом. Видишь колун? Бери. Пока я полосу тяну, чтобы тебе нос не отожгло.

Я молча кивнул. Никаких инструкций, никаких «здоровствуй» или «расскажи о себе». Только работа. Это было... освежающе.

Угол за дверью действительно был завален поленьями — береза, дуб, сосна. Тяжелые, сырые, покрытые инеем. Рядом стоял колун — тяжелое, остро отточенное лезвие на длинном

топорище. Я примерился. Мышцы, отвыкшие от физического труда за годы сидения в офисе и капсулах, отозвались глухой болью, но движения вспомнились быстро. Генетическая память или просто логика — поднять, занести, ударить точно в торец.

Первый удар. Полено глухо хрустнуло, но не поддалось. Второй. Лезвие вошло глубоко, завязнув в смолистой древесине. Я уперся ногой в полено, навалился плечом. Дерево с треском разошлось на две половины.

Запахло свежим срезом и смолой. Я почувствовал, как по спине потекла струйка горячего пота. Я взял следующее полено. Удар. Хруст. Разворот. Удар.

Ритм захватил. Тук. Хрясь. Тук. Хрясь. Это было похоже на отладку сложного алгоритма: если угол удара неверный — энергия тратится впустую. Если замах слишком слабый — вязнешь. Здесь всё было честным. Дерево либо раскалывается, либо нет.

Я колол дрова, пока горка поленьев не превратилась в аккуратную поленницу у стены горна. Ярослав за это время успел проковать полосу, свернуть её в несколько раз, сварить швы ударами молота (кузнечная сварка — я читал об этом в энциклопедиях, но видеть, как металл срастается под сломом буры и жара — совсем другое) и вытянуть её в длинное, тонкое лезвие будущего ножа.

Он работал молча, лишь изредка покрикивая на Добрыню, чтобы тот качал мехи сильнее. Внук старосты налегал на

рычаг, и пламя в горне ревело громче, пожирая уголь.

Когда я закончил с дровами, кузнец наконец разогнулся, воткнул готовое лезвие в бочку с водой. Раздалось яростное шипение, повалил густой белый пар.

Ярослав вытер лоб тыльной стороной ладони, оставив на нем чистый след. Маленькие глаза посмотрели на меня оценивающе. — Не сдох, — констатировал он. — Уже неплохо. Руки не в мозолях, но держишь правильно. Где научился? — В лесу, — коротко ответил я, опираясь на рукоять колуна. Легкие горели, требуя кислорода. — В лесу только медведь сосны валит, — хмыкнул кузнец. — Ладно. Слушай сюда, Дмитрий. Ты теперь при мне. Твоя работа проста, как удар молота.

Он начал загибать пальцы, черные от въевшейся сажи: — Первое. Огонь. Горн не должен гаснуть ни на минуту, пока я в кузне. Дрова сухие, уголь отборный. Если увижу сырость — будешь уголь пальцами перетирать. — Второе. Мехи. Когда скажу «дуй» — дуешь так, чтобы сопли из носа вылетали. Когда скажу «стой» — бросаешь рычаг, даже если палец прищемило. — Третье. Руда. В углу. Её нужно дробить. В кашницу. Чтобы ни одного камня, только пыль. Молот вон там. — Четвертое. Чистота. Огню мусор не друг. Сор на полу — смерть. Наступишь на гвоздь в темноте, уронишь заготовку — будешь выгребать её из углей голыми руками.

Он подошел ко мне вплотную. От него пахло жаром и железом. — Запомни, парень. Здесь бог один — Огонь. Если

Огонь примет твою работу — ты живешь. Если Огонь плюнет на неё — я выкину твои кости за частокол. Понял?

Я посмотрел в его маленькие, честные глаза. В них не было злобы. Только абсолютная, первобытная уверенность в своем праве. — Понял, — сказал я.

— Вот и ладно, — он кивнул Добрыне. — Беги к деду, скажи — принял. И жбан кваса пусть придет, в горле пересохло.

Добрыня молча кивнул, на прощание хлопнул меня по плечу (от чего я чуть не присел — силы в парне было немаленько) и выскользнул на мороз.

Я колол дрова, пока горка поленьев не превратилась в аккуратную поленницу у стены горна. Пот заливал глаза, смешиваясь с сажей, рубаха на спине промокла насквозь. Мышцы, отвыкшие от тяжелого труда за годы сидения перед экранами, ныли тупой, приятной болью. Работа заземляла. Она не давала думать о том, что я — ошибка системы, попаданец, призрак из будущего. Здесь и сейчас я был просто парнем с колуном.

Ярослав работал у наковали. Он не обращал на меня внимания, полностью поглощенный процессом. Он вытянул из огня полосу раскаленного добела металла, положил на рог наковальни и занес тяжелый молот. Удар. Сноп искр брызнул в полумрак. Еще удар. Кузнец работал в абсолютном молчании, и только тяжелое дыхание мехов, которые он качал ногой, да звон стали нарушали тишину.

— Дыши, — бросил он, не оборачиваясь. — А то свалишься.

Я воткнул колун в колоду и подошел ближе, чтобы взять кочергу и поворошить угли. Рукав полушубка задрался, обнажая запястье. Метка, полученная от Марены, была скрыта под слоем грязи и копоти, но сейчас, в багровом свете горна, она проступила сквозь слой сажи.

Ярослав замер. Молот в его руке дрогнул и глухо стукнул о край наковальни. Маленькие, глубоко посаженные глаза кузнеца, до этого равнодушно-цепкие, впились в мое запястье. Он медленно, не отрывая взгляда от черного креста, обошел меня по дуге, словно волк, обнюхивающий чужака.

В кузнице повисла тяжелая, звенящая тишина. Слышно было только, как потрескивают дрова в горне.

— Так вот оно что, — голос Ярослава прозвучал не громче шелеста пепла. — Не зря бабы шептались. Не зря Ждан тебя в снег мордой тыкал.

Он протянул руку — широкую, покрытую старыми ожогами и мозолями, способными сплющить подкову. Я инстинктивно напрягся, но кузнец не собирался меня бить. Он ткнул толстым, черным от угля пальцем прямо в центр креста. Кожа под его пальцем вспыхнула ледяным огнем. Метка ото-звалась не болью, а глухим, вибрирующим гулом, который пошел по костям.

— Суровая Госпожа, — выдохнул Ярослав, и в его голо-

се не было страха, только тяжелое, суеверное уважение. — Метка Морены. Говорят, она ходит по лесам, когда зима хочет забрать больше, чем положено. Говорят, те, кто уходит в её чашу, не возвращаются. А если возвращаются — то приносят с собой только стужу. Ты либо мертвец, либо...

Он не закончил. Отдернул руку, словно обжегся, и потерял палец о фартук, хотя метка была холодной.

Мой мозг, привыкший анализировать данные, моментально выстроил логическую цепочку. Если здесь есть Марена, то пантеон не выдумка. Если пантеон не выдумка, то у огня должен быть хозяин.

Я перевел взгляд с его лица на плечо. Под грубой тканью рубахи, там, где ключица переходила в шею, сквозь пот и грязь проступал другой знак. Он был выжжен или наколот давно — кожа вокруг была грубой, старой. Руна, похожая на квадрат с одним загнутым концом, вписанный в круг. Знак солнца, огня и перекрестка дорог.

— А у тебя что? — спросил я, кивнув на его плечо. Мой голос прозвучал хрипло, но ровно.

Ярослав моргнул, вырванный из оцепенения. Он проследил за моим взглядом, посмотрел на свою метку, потом снова на меня. Его маленькие глаза сверкнули из-под косматых бровей. Он усмехнулся, обнажив редкие, крепкие зубы.

— Это? — он задрал рукав рубахи, открывая печать полностью. — Это Сварог. Небесный Коваль.

Он ткнул себя пальцем в грудь, туда, где билось сердце. — Ему я кую. Ему душу отдал, когда первый раз в жизни железо сварил. Он дает мне силу держать молот, когда руки отнимаются. Он дает жар, когда угли остывают.

Кузнец шагнул обратно к наковальне, поднял остывшую полосу и снова сунул её в горн. Движения его стали резче, злее.

— Выходит, стоим мы с тобой по разные стороны наковальни, парень, — пророкотал он, качая мехи. Пламя взревело, облизывая металл. — Она — Зима. Смерть. Конец пути. Он — Огонь. Труд. Начало всякого железа.

Он выхватил полосу клещами. Металл светился желтым. — И что же вы тут куете? — спросил я, глядя, как он начинает расковывать лезвие. — Мир или войну?

Ярослав усмехнулся, и искры отразились в его глазах. — А это, Дмитрий, не нам решать. Мы просто бьем, пока бьется.

Удар молота обрушился на наковальню с такой силой, что у меня зазвенело в ушах. — А теперь бери метлу, — рявкнул кузнец, не прекращая работы. — Угольная пыль по углам лежит, Огонь её не любит. И пошевеливайся, пока я добрый. Если Сварог увидит, что я с меткой Морены лясы точу вместо работы — он мне руки отнимет.

Мы проработали в молчании до самого вечера.

Слова стали не нужны. Кузница — это место, где правит ритм, и мы попали в него, как два шестеренчатых колеса од-

ного механизма. Я подметал угольную пыль, колол дрова, которые прогорали с пугающей скоростью, качал мехи, когда Ярослав кидал мне короткий приказ «дуй», и следил за цветом металла в горне. Мои руки покрылись ссадинами и волдырями от рукояти колуна, спина гудела, а легкие горели от жара и металлической пыли, но я чувствовал себя странно живым.

Ярослав не был разговорчивым наставником. Он был стихией. Он двигался по кузнице, как медведь в тесной берлоге — тяжело, заполняя собой всё пространство. Иногда он что-то бурчал себе под нос, ругая то непослушную руду, то слишком мягкий уголь, то погоду. Но ко мне он относился как к предмету обстановки — полезному, но неодушевленному. Он не учил меня ремеслу, он просто требовал, чтобы я не мешал ремеслу совершаться. И это меня устраивало. Мне не нужно было притворяться, не нужно было вникать в тонкости местной мифологии или объяснять, кто я такой. Я просто подавал, уносил и махал колуном.

За узкими щелями-продухами под крышей небо начало наливаться густой, фиолетовой синевой. Зимний день короток — не успеешь разогнуть спину, как солнце уже прячется за частокол. Свет в кузнице изменился. Если раньше он был яростным, багровым, выхватывающим из полумрака только наковальню и руки мастера, то теперь он стал тусклым, серым, и единственным источником жизни остался только пульсирующий жар горна.

Ярослав в последний раз сунул заготовку в угли, дождался нужного свечения — белого, с голубоватым отливом — и несколькими точными, экономными ударами придал ей форму. Затем с резким шипением опустил лезвие в бочку с водой. Поднялось облако густого, едкого пара, запахло каленым железом.

Кузнец вытер лоб тыльной стороной ладони, оставив на коже чистую дорожку. Он тяжело выдохнул, и в этом выдохе слышалась усталость целого дня.

Он подошел ко мне. Теперь, когда он стоял рядом, я видел, какой он огромный — на полторы головы выше меня, а в плечах шире вдвое.

— Всё, — проскрипел он. Голос сел от дыма. — На сегодня.

Он бросил клещи на стол. Металл звякнул о металл. — Дрова под навес перетаскай, чтобы под снегом не лежали. Уголь в ларь ссыпь. Меха проверь, чтобы кожа не треснула.

Я кивнул, разминая затекшую шею. Каждое движение отдавалось болью в мышцах, о существовании которых я забыл в двадцать втором веке.

— Завтра придешь, как солнце над частоколом встанет, — продолжил Ярослав, снимая кожаный фартук. — Опоздаешь — будешь уголь пальцами перетирать. Понял? — Понял. — Свободен.

Он даже не посмотрел на меня, уже погружаясь в свои инструменты, что-то там поправляя и протирая промасленной

ветошью. Для него день не закончился — он просто перешел из фазы «бить молотом» в фазу «ухаживать за огнем».

Я вышел на улицу, и мороз ударил по лицу, как мокрая тряпка. После адского пекла кузницы холод казался благословием. Он мгновенно схватил мокрую рубаху на спине, заставив меня поежиться. В ушах всё еще стоял звон наковальни, а перед глазами плыли красные пятна.

Деревня уже спала. Улицы были пусты, окна в домах — темными. Только кое-где из труб тянулись тонкие струйки дыма — хозяйки топили печи для вечерней стряпни. Снег под лаптями скрипел оглушительно громко в этой мертвой тишине.

Путь до землянки показался вечностью. Ноги налились свинцом. Когда я наконец спустился по обледенелым ступеням в свое жилище, я едва не упал.

Внутри было холодно. Печь давно выстудилась, и воздух казался колким. Я сбросил на пол тяжелый полушубок — руки почти не слушались. Подошел к печи, нащупал кремень. Искры давались с трудом, пальцы дрожали. Когда береста наконец занялась, я просто рухнул на лавку, привалившись спиной к теплым камням.

Сил не было даже на то, чтобы радоваться. Я был пуст. Выжжен изнутри, как та крица в горне. Но это была хорошая пустота. Чистая.

Есть хотелось зверски. Я заставил себя подняться. В чугунке, оставленном с утра, еще оставалась каша. Она пре-

вратилась в сплошной ледяной ком. Я ножом отколол кусок, бросил его в котелок, добавил немного снега вместо воды и поставил на огонь.

Пока каша разогревалась, шипя и плюясь каплями, я сидел на полу, глядя на пламя. В голове не было мыслей. Только звон стали и запах дыма.

Еда показалась мне вкуснее любого ресторанного блюда. Горячая, пресная, разваренная масса из репы и ячменя. Она падала в желудок тяжелым, теплым камнем, и по телу начало разливаться оцепенение.

Я заставил себя дойти до лавки. Не раздеваясь, только скинув мокрые лапти у порога, я рухнул на овчину. Накрыл голову краем полушубка, отсекая остатки света.

Последней мыслью, прежде чем темнота сомкнулась над головой, было: «Сварог и Морена. Огонь и Лед. А между ними — я».

Сон накрыл меня мгновенно, тяжелый и глухой, без сновидений. Только звон наковальни, который, казалось, теперь навсегда поселился в моих костях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.